

Александр Архангельский

Музей революции

Роман



Александр Архангельский

Музей революции

«Автор»

2012

Архангельский А. Н.

Музей революции / А. Н. Архангельский — «Автор», 2012

Действие динамичного романа Александра Архангельского разворачивается в ближайшем будущем, которое почти во всем неотлично от настоящего. Герои - музейщики, священники, пиарщики - вовлечены в конфликт вокруг музея-усадьбы, который внезапно пересекается с конфликтом военным, а тот - с большой политикой. Но и война, и политика, и деньги - всего лишь только фон, на котором четко проступает контур главной темы, на которой держится острый сюжет. А главная тема романа - любовь. И физическая, которая связывает мужчину и женщину. И метафизическая, которая связывает человека и историю. Какая любовь сильнее, трагичней, радостней, предстоит узнать героям романа «Музей революции». У читателей электронной версии есть уникальная возможность прочесть роман задолго до выхода бумажной книги в издательстве АСТ - автор предпочел сначала опубликовать ее в цифровом виде. А еще в электронной версии есть приложение - целая «пропущенная глава», которой не будет в бумажном издании.

© Архангельский А. Н., 2012

© Автор, 2012

Содержание

Часть 1	6
Первая глава	6
1	6
2	8
3	9
4	11
5	13
6	15
7	17
Вторая глава	18
1	18
2	19
3	23
4	25
5	26
Третья глава	28
1	28
2	30
3	31
4	32
5	33
6	34
7	36
8	38
9	40
Четвертая глава	41
1	41
2	44
3	47
4	50
Пятая глава	51
1	51
2	52
3	53
4	55
5	56
6	56
Конец ознакомительного фрагмента.	58

Александр Архангельский Музей революции

Я поведу тебя в музей! –

Сказала мне сестра.

С. В. Михалков

Дороже антиквариата
Минус Рес!

Считайте лгаловно –
и ко му гашите
удволостие!



Часть 1

Герой Второго Уровня

Первая глава

1

Зазвонил телефон.

– Алё!

– Ало.

– Алё, говорю!

– Да ало, ало. Ало же. Вам кого?

– Черт.

Трубку швырнули на крюк; удар по барабанной перепонке. Мобильный так не отключишь. Мобильный – зверок деликатный, треньк, треньк, ответьте, плз. И звонили не из дому, был слышен приземистый гул автомобильной трассы. Неужели телефон-автомат? Разве их еще не отменили?

Опять звонит. Отвратительный сигнал у городского телефона, тонкий, въедливый. И мелодию не поменяешь.

– Алё!

– Ало. Как, будем говорить, или продолжим трубками кидаться?

– Опять я, что ли, здесь?

– Опять.

– А кто это?

– Слушайте, не я же вам звоню. Вообще-то. Сами представьтесь.

– У, ччерт.

Снова раздаются дробные гудки.

Нет, на этом мужичок не остановится. Голос рыхлый; говорит рывками, сразу слышно, что упрямый. Должно быть, кряжистый и невысокий, а на плечах топорщатся черные волосы с проседью. Слева кустик, справа кустик. На голове залысины. Лоб в тяжелых морщинах. И брови нависли.

А вот и он.

– Алё.

– И снова здарсьте. Может, все-таки вы объясните, кто вы? и куда звоните? и кому? может, вам дали ошибочный номер?

– Домой я звоню, понятно? Супруге. А попадаю к тебе. У меня сейчас карточка кончится. А киоски все позакрывались до утра. А симка, прикинь, не контактит. Такая тут страна.

– И что же, из отеля слишком дорого?

Подпустил иронии, не удержался.

Неизвестный голос помягчел, стал высокомерно-снисходительным.

– Ты не понял, брат. Мы тут на джипах, через всю страну, мы едем.

– А, сафари? Соболезную. Попробуйте жене на сотовый набрать, у нее же есть мобильный?

Еще один укольчик, легкий, но болезненный. Впрочем, кажется, у мужика слоновья шкура, он таких укольчиков не замечает.

– Да не берет она, ты понимаешь? – железо в голосе вернулось, но стало ржавым. – Опять небось забыла где-нибудь. А он на первом же звонке включается, зараза, пи-пи-пи, оставьте сообщение. И деньги жрет. А послезавтра вылетать домой, не сговоришься. Чччерт. Чччерт. Чччерт.

Слышно, как мимо звонящего проносится машина; ветер бьет взрывной волной.

– Что же вы так чертыхаетесь? Побойтесь Бога.

– Какого бога? А, ты в этом смысле. В общем, ладно. Как, говоришь, тебя зовут? Меня – Старобахин. Николай Петрович. Николай. А ты?

– Саларьев. Павел Саларьев.

– Павел, послушай сюда. Если уж так. Сейчас у вас там сколько? Двенадцать уже? У меня десять тридцать. Ну да. Так точно, десять тридцать. Ручка есть? Мужик, прошу, давай по быстрому, пока не поздно, спиши мой номер. Три девятки семь восемь ноль семь. Списал? И мобильный супруги, на всякий... Успеваешь? Позвони с утра на станцию, узнай, в чем дело, лады? Не нравится мне это. Я карточку куплю...

Телефон сглотнул, и связь оборвалась.

Саларьев отругал себя за мягкотелость; нужно было нахала послать, далеко и надолго. И решил, что надо позвонить домой, в Питер. После этого – «мужик», «по быстрому», «списал» – почему-то захотелось вдруг услышать честный, ровный, без малейших примурлыкиваний голос Таты. Вяловатый, выдохшийся, как минеральная вода в приоткрытой бутылке. Но домашний ласковый и теплый. Или же, наоборот, холодный – когда они поссорятся. В Тате странно сочетаются расплывчатость и определенность.

– Тат, привет.

– Ой, Пашуля, мой милый... Я так соскучилась! Когда же тебя наконец выпустят на волю?

– Вот сдам экзамен на звание швеи-мотористки, и сразу. Как поживаешь, Татуся? Что куколки? Какие в Питере погоды?

– Холодно и ветер, как положено... Начинаю новую... Нет, ну все-таки, когда?

– Завтра сдаемся, если все тудем-сюдем, через два дня.

– И навсегда?

– Навсегда. Пока труба не позовет.

– Я тебе дам трубу. Пашка, хватит с нас труб. Давай переходить к оседлой жизни. Пашк, ну правда, сколько можно? Я взаперти, ты неизвестно где...

– Я известно где. В столице нашей родины. Москве.

– ...незнамо где, так жизнь пройдет, состаримся, умрем, Паш, я правду говорю, возвращайся домой, под бочок, и больше никуда и никогда.

– Тат, давай не будем.

– Что не будем?

– Начинать не будем, вот что. А то опять схлестнемся. Не хочу.

– И я не хочу. Но и жить мне так тоже надоело. Рваным стежком...

– Надоело – не живи.

– Зачем тогда звонил?

– Пообщаться думал.

– Пообщался?

– Пообщался. Спокойной ночи.

Бух. Она швыряет трубку громче Старобахина.

И так всегда. Начинается по мелочи, слово за слово, доходит до крика: а ты? а ты! Разругавшись, ходят надутые, обоим плохо, оба ждут, кто не выдержит первым. Час, день, три дня, неделю. Настроение паршивое, все валится из рук. Но как только кто-то побеждает гор-

дость, идет с прижатыми ушами замиряться, тут наступает всемирный рассвет, камень падает с сердца, все ладится и удается слету. А через недолгое время опять: это ты сказал! нет, это ты сказала! ах, так?!

Раздраженный Павел смял бумажку с телефоном Старобахина, хотел было выбросить в мусорку, но почему-то вдруг остановился. Стало интересно. Как в книжке, когда завязался сюжет – ну-ка, что там у вас приключится? Он сдвинул очки на кончик носа и, не отрываясь от бумажки, набрал по проводному телефону продиктованный номер: девять-девять-девять семь восемь ноль семь. Услышал мелкие гудки. Занято. Через минуту повторил. И тот же результат. Попробовал отвлечься. Заварил никудышного чаю. Неспешно выпил, глядя в телевизор. Звук выключен: мелькание картинок расслабляет, а про что там говорят – неинтересно. Набрал еще разок. Ту-ту-ту. Разговорчивая дамочка, однако... и вдруг промелькнула догадка, смутная, прохладная, как тень.

Не вставая с кресла (руку протянул – и в коридоре; квартирнка крохотная, общей площадью шестнадцать метров), цапнул с тумбочки под вешалкой мобильник. Пробежался по упругим кнопкам: три девятки семь восемь ноль семь. Замер. Смертельно тихо. Капля из крана звонко бьет по железной раковине: надо будет срочно починить.

– Стойте! я больше не буду! не буду! да подождите вы! – из-за окна доносятся пивные голоса.

Две секунды ожидания... нормальные, протяжные гудки... четыре... в коридоре занял городской телефон. Павел снял проводную трубку, прижал ее к правому уху, а мобильник к левому, сказал в него: ало. В правом ухе неприятно раздалось: ало. Как прикажешь это понимать? – как прикажешь это понимать? Сумасшедший дом – сумасшедший дом.

Он разговаривал с собственным эхом. Набрал продиктованный номер, а попал на собственный домашний.

Вот тебе и черт-черт-черт. Нехорошо.

2

Офис Ройтмана расположился в самом центре, на Софийской набережной. Напротив, через Москву-реку – восточный Кремль; он как будто сделан из папье-маше и раскрашен веселой гуашью. На узкой улице толкаются роскошные машины; прохожих мало, как посетителей в заброшенном музее. Когда-то здесь стоял особнячок. На излете 90-х Ройтман начал расширяться и облюбовал себе местечко близ Кремля; особняк решили не сносить, и полностью встроили в новое здание. Теперь из сердцевины полированного мрамора выступают белые колонны и стыдливо-желтые оштукатуренные стены.словно гигантская галька с окаменелой ракушкой внутри.

В офисном предбаннике царит непроницаемая тишина, искусственная легкая прохлада – Юлик Шачнев, куратор проекта, постоянно жалуется, что воздух пахнет надкушенной сливой, а он терпеть ее не может. Футляры долго, скучно проверяют. Бережно, слоями вынимают вкладыши, чтобы не сколоть фигурки, висящие на петельках; неспешно изучают документы. Из отдельной зашторенной комнаты выходит человек, космически вежливый и безразличный. В толстом панцире бронезилета он похож на черепашку. Молча, прижимая локтем автомат, сопровождает на восьмой этаж, где расположены хозяйские покои.

Двери лифта раздвигаются с достоинством. Перед глазами распахнут простор. Внешняя стена стеклянная, обзорная, без перекладин. Этаж завис на уровне соборных куполов Кремля; сквозь белое на золотом сочится небо. Снизу, как малиновая оторочка, проступает зубчатая линия стены.

В обе стороны, направо и налево – полуколыском уходит коридор. Слышится мягкая поступь. Из левого изгиба прорастает тень: еще один сопровождающий, такой же молчаливый,

в черном. Тень жестом приглашает следовать за нею. Они ныряют в желтоватый полусумрак. По обе стороны – состаренные книжные шкафы в английском стиле, золотым тиснением мерцают корешки.

На обрыве коридора вспыхивает свет, как на ярком кончике светодиода.

– Я вас оставляю.

Тень ускользает.

– Ну что, старечог, спасибо нашим поварам за наш последний ужин, начинаем готовиться к встрече?

Это Юлик. Сдобные щеки зарумянились, глаза возбужденно блестят: ну, ребята-демократы, молодцы!

3

Когда-то, на излете перестройки, Саларьев получил хорошую стипендию и на полгода улетел в Стокгольм. Обезличенная дама в светло-синей форме пролистала красный паспорт и брезгливо шлепнула печать; на таможне твердый господин скептически взглянул на чемодан, дерматиновый, потертый, и ничего досматривать не стал. Автоматические двери расплзлись, как театральный занавес, и Павел оказался за границей. Свет в Шереметьево был тёмно-жёлтый, комковатый, а здесь – бесцветный, ярко растворяющийся в воздухе. За окнами – безжизненное утро, беспросветно серое, тяжелое, а внутри – неутомимое свечение. И бодрый запах булочек; маминых, воскресных, теплых. А еще цветочной лавки, свежесваренного кофе, маринованной сладкой селедки. За одним из столиков сидели милые старушки и азартно резались в карты...

Почему-то сразу стало ясно, что никакой науки тут не будет. Будет – бесконечный островерхий город. Город – был. Вокруг могучего и нагло вздыбленного корабля «Васа» бродили мелкие японцы, потрескивали маленькими вспышками. В затемненном зале Нобелевского фонда, как хорошие детсадовские девочки, сидели бабушки с фиолетовыми буклями и послушно смотрели кино на трех параллельных экранах. Накануне демонического Хэллоуина по вековой брусчатке аккуратно пробегали ряженные; в ресторанах был скромный, холодный уют. Мужчины распускали галстуки, расстегивали верхние пуговицы. Крупные в кости, но художаво-вытянутые женщины весело болтали, напрягая спины и держа осанку.

За день до отлета в Ленинград ему позвонил куратор, короткоствольный рыжий швед, профессор Сольман. Куратор говорил по-русски чисто, но с тягучим, вежливым акцентом: «Павел! есть хорошая идея, подъезжайте!». Ехать очень не хотелось; начинался насморк, в горле наждачно скребло, и вообще он собирался почитать в постели, слушая, как дробно отлетают капли от мансардного окна. Но Сольману отказывать нельзя; он охотно прикрывал Саларьева, даже поощрял прогулы, его любимое присловье – русское, с мягким гуттаперчевым акцентом: *а ничего, давай, нарушим*.

Павел обреченно отстегнул замок велосипеда, и сквозь мелкий клубящийся дождь поехал к Университету. На мосту его обогнала пижонская двухместная машина; тонкая вода взвилась из-под колес, закрутилась в воздухе и облепила Павла коконом. Мгновенно обожгло лицо; за шиворот потекли ледяные струйки, башмаки разбухли, стали хлопать.

Увидев мокрого стажера Сольман охнул, отечески обтер ручным полотенцем, плеснул аквавита, и потянул за собой: *прямо обалдеем*.

Было поздно, часов одиннадцать, порядочные шведы по кроваткам, и Сольман счастлив, что опять *нарушил*. Они одни в пустой, предельно скучной комнате; на офисном столе из ДСП, прогибая его ненадежный каркас, высится компьютерный экран. Таких тогда никто еще не видел; университетской нормой были маковские ящички, тяжелые и неуклюжие, с небольшими черно-белыми экранами, а этот был не меньше метра в высоту и сантиметров семьдесят

в ширину. Непривычно вытянутый по вертикали, узкий и покатый; на стекле играет радужная дымка, как на раздутом мыльном пузыре.

Экран неуверенно пфыкнул. Сверху вниз сползло медленное изображение. Краски взбухшие, фактурные, со следами грубоватой кисти. Синее, сиреневое, розовое, нежное, телесное, воздушное и плотское... актриса Сара Бернар. Изображение застыло на минуту, дрогнуло, Сара заместила загорелыми купальщиками: старозаветные хитрые лица, холмистая местность, белесая, перетекающая в синеву; издалека, навстречу купальщикам, но на самом деле к нам, а через нас и дальше – движется Мессия...

Очередная смена декораций. И еще. И еще. И опять.

Раздался веселый чпок, проявился пенный запах: это распоясавшийся Сольман открыл пивную банку и предложил *залакировать*.

Павел отказался.

– Как хотите, мне больше достанется, – по-русски возразил ему Сольман, выпил залпом и по-английски (чтобы получилось коротко и четко) рассказал про музейный проект. Выделено восемнадцать миллионов крон. Королевский фонд сканирует все главные картины мира – те, на которых держится цивилизация. Их выложат на общую платформу. Скорость интернета увеличится, и можно будет из любого города, да что из города! деревни! заходить на виртуальный склад и скачивать любые образы. *Люди будут плавать в них, как плод в плаценте*; переходя на английский, Сольман избегал искусственного просторечия, и говорил подчеркнуто литературно.

Павел смотрел на экран, потрясенный, счастливый. Как щенок, которого, мотая в воздухе, за шкурку отнесли во двор. Сколько новых впечатлений! Двор огромный! Из конца в конец бежать – не добежишь! Сердце бешено забилося, кровь прилила к голове, начало немного морозить, покручивать руки в запястьях, как в детстве при игре в крапивку; он успел насмешливо подумать: что за девическая впечатлительность? И плюхнулся на стул: внезапно подкосились ноги.

В больнице спросили страховку, изучили краснокожий паспорт: застрахованы до послезавтра? виза действует до тридцать первого? Тогда применим шквальное лечение.

В таких количествах лекарствами его еще не пичкали. Температура спала, кожа обтянула кости; он чувствовал себя, как мумия в гробнице. Но зато в назначенное время, на своих двоих, он пересек священную границу, сел в самолет, и сразу провалился в сон. Каким-то запасным сознанием он понимал, что в иллюминатор жестко светит ледяное солнце; слышал, как сосед в полосатом костюме, читавший на взлете длинный черно-желтый мусульманский календарь, резко всхрапывает и просыпается, чтобы снова уснуть, и всхрапнуть, и проснуться, а тетенька опасного, избыточного возраста продолжает тормозить напившегося мужа: муж! а муж! да очнись ты! скажи, что меня любишь.

Едва оправившись, Саларьев стал обзванивать друзей, ушедших в бизнес. Реакция была примерно одинаковой. На что – на что дать денег? на музей? искусственный, в компьютере? Полмиллиона? Паш, ты с глузду съехал! какие музеи в настоящий момент времени? тем более в компьютере. Купи себе лучше джип, трехлетку, дизель. Хочешь перегонщика дам, из надежных?

Но год от года дешевила техника; можно было обойтись без посторонней помощи. Он разработал первую свою программу, волне еще топорную, смешную. Пошел к ребятам, делавшим компьютерные игры: побей, но выучи. Лохматые ребята, сидевшие в прокуренном полуподвале на Литейном, научили. Он часами наблюдал и восхищенно слушал жреческое бормотание:

– Так-так-так, и будет нам великое счастье... здесь нужна бомба... где тут у нас война? а, вот у нас война, как же вдруг мы – и без бомбы... Поехали, ее сейчас нормолазом сделают.

А потом появились заказы. Скромные, на пробу. Серьезные, с размахом. И даже грандиозные, как этот.

4

Юлий позвонил примерно год назад. Представился. Кто, что и как – неважно. Рекомендовали правильные люди, сказали, что Саларьев главный по музейной виртуалке. Вкратце изложил идею, предложил увидеться. В Москве? Зачем же? Можно и в Питер приехать, город подзапущенный, но ничего, когда-нибудь займемся. (В этом месте нужно было рассмеяться; Павел вежливо прихмыкнул.)

Они сидели в модном ресторане на крыше зингеровского особняка. Ресторан был высвечен рассудочно; на застекленный купол налипал сероватый ноябрь; было в этом что-то скандинавское, далекое. Невский двигался с одышкой, вязко, Публичка и Александринка оплывали в дымке. Павел полюбил и город, и его упрямых граждан, аристократически ленивых, с пролетарским апломбом, умных, нервных, быстро каменеющих от гнева, легко приходящих на помощь, умеющих терпеть свою судьбу и слегка презирающих этих равнодушных москвичей, которые вместо нормальных *хлеба* и *булки* едят свой *черный хлеб* и *белый хлеб*. Но ленинградский климат ненавидел. Люто. Как всякий южанин, с детства прогретый насквозь. Хуже всего в ноябре; по утрам невозможно проснуться, вечером – уснуть; кровь становится клейкой и густой, от бесконечных мокрых перепадов ветра закорачивает мысли, кажется, они перегорели и пахнут окалиной.

Павел сжал себя в кулак, сосредоточился. А Юлик ничего не замечал. Он был упитанный, в очках, со слоновьими уютными ушами; похож на мелкопоместного помещика, приехавшего в город принимать права наследства. Отстегнул сапфировые запонки, с черными брильянтами, утопленными в платину, положил в атласный футлярчик. Рукава сорочки закатал, розоватый галстук распустил, вечерний пиджак вольготно повесил на спинку. И не уставая похохатывал.

Тарелки в здешнем заведении не полагались: в круглой стеклянной столешнице были сделаны углубления, куда официант, поворачивая стол вокруг оси, поочередно выкладывал блюда. Замызгали салатом, прикрыли непрозрачной крышкой из цветного темного стекла – поворотик – переходим к супу; выхлебали суп – прикрыли – поворот – и мясо.

– Безумное чаепитие! – смеялся Юлик. – Жаль, что нету углублений для вина! прикиньте, Павел, как бы мы тут чокались! Вино в поддоне! Гениально.

Но переходя от светских шуток к делу, он менялся. Щедрая улыбка исчезала, как будто с нижней части лица сдирали наклейку. Глаза темнели, вдруг переставали бегать и смотрели прямо, как в прицел. Губы делались тонкими, кончики загнуты вниз. Обвислые мягкие уши вставали торчком.

– Итак...

Заказ был фантастический – и денежный, и жизненный, и даже несколько научный; таких предложений Павлу до сих пор не делали – обычно было либо, либо, либо.

Компания, которой распоряжался... совладел... неважно... Михаил Ханаанович Ройтман (его все называли Михаил Михалыч или по-простому – *бог*), была грандиозной; половина благодетелей усадьбы, в которой Павел работал заместителем директора, были так или иначе связаны с ройтмановской империей, всосавшей без остатка города и веси; в каком-то интервью сам Ройтман (то ли в шутку, то ли почти что всерьез) сказал о новом, *незамызганном* рабовладении – многие его за это осудили.

И вот пришла пора слегка притормозить. Перенаправиться, как выразился Юлик. Неважно, по каким причинам. Надо. Юлик объяснял рывками, не заканчивая фразы, пропуская глагольные связки; так после антивирусной программы компьютер выдает обрубленные файлы.

– Словом, старечог, записано... а так, вернуть, продать... короче, надо. На выходе что остается? Ну деньги. Деньги – тьфу, деньги есть. На выходе должна остаться память, понимаешь? На кону семнадцать ярдов... пятнадцать процентов туда, пятнадцать сюда, тридцать этим... все равно немало. Он что придумал: заказать себе музей, сечешь?

Павел – сек. Так сплошь и рядом говорили спонсоры музея: энергично начиная фразу, быстро сглатывая продолжение. Вся их жизнь прошла в словесных прятках, они привыкли обрывать себя, чтобы случайно не сказать чего-то лишнего. Было ясно главное: что Ройтман собирается продать Торинский комбинат. Готовясь к отступлению, он хочет сохранить на память то, что будет с ним всегда, в любой стране, куда ни *бросит*. Передвижной компьютерный музей. Пятнадцать лет жестокой жизни, история о том, как безнадежный город ждал прихода Ройтмана, как Ройтман взял его в полуразвале, поставил на ноги, вернул надежду; и это правда, а не сказка, это – было!

Ну, и, разумеется, цена.

Павел боролся со спазмом, корчил из себя делягу, небрежно торговался, заранее поняв, что в этот раз – дадут.

Напоследок Юлик попросил:

– А что-нибудь еще придумать можем? Ну такое, для сюрприза, лично богу, типа бонус? Саларьев глубоко задумался. Вспомнил, как жена учила его делать раскрашенных куколок.

– Эй, старечог, чего молчишь? С тобой порядок?

Павел очнулся, тряхнул головой.

– Да, порядок. Полный порядок. Знаешь, Юлий, я придумал. Давай мы сделаем еще один музейчик, игрушечный, детский, из хлебного мякиша с солью.

– Что-что? – не понял Юлик.

Выслушал и от души развеселился.

– Ну конечно, конечно, лепи! А есть тебе в Москве, где жить? Не то дадим служебное жилье. Неуютное, но зато бесплатно.

Саларьеву было, где жить. Московскую квартирку он купил по случаю, ни для чего. В девяносто восьмом, перед дефолтом. Приехал на денек в Москву, за шведской денежкой – четыре серии документалки про судьбу трофейных книжек, устроенные Сольманом, по старой дружбе. В восемь тридцать вышел из поезда, в десять добрался до офиса, к одиннадцати был свободен и богат. Зашел в кафе, взял бесплатную газету объявлений, стал попивать латте, запеченное в узкой чашке. И наткнулся: срочно продаю, на Силикатной, однушка, 16 м., 14 000 у. е., оформление за день.

Поехал посмотреть – и сразу сговорился. Не то, чтобы понравилось. Чему тут особенно нравится? Дом гостиничного типа. Длинный узкий коридор упирается в глухую шкрябаную стену. По обе стороны – унылые коричневые двери, тынк-тынк, тынк-тынк. Ровно посередине коридора на старом крученом шнуре, как в стильном кино про 30-е годы, висит стосвечовая лампа. Вокруг болезненно слепящий свет, а дальше нарастает темнота. На улице чадят грузовики, возле дома нахохленными стайками сидят бабули в белых бязевых платочках – по краям платочков похоронно пропущены синие крестики; неуютно и тоскливо. Но слишком страшно было до полуночи таскаться с деньгами в портфеле. Потом в каком-нибудь сортире близ вокзала перекладывать их в набрюшник, сшитый Татой. Возвращаться ночным, и до утра не спать, гадая: кто твои попутчики? нормальные ребята? не бандиты? не вели весь день, чтобы чикнуть ножом, и поминай, как звали?

После кризиса квартирка вздорожала, они ее стали сдавать, а после разговора с Юликом Павел отказал жильцам. Три дня в неделю жил под Питером, в усадьбе, день дома, с Татой, три – в Москве. В своей уютной карликовой норке. В офисе руководил компьютерными гениями, приятно диковатыми, в потертых свитерах на фоне вылизанных офисных гомункулов,

придумывал сценарные ходы, рисовал с художниками раскадровку. А вечером, на Силикатной, надевал хозяйский фартук, вымешивал тесто с поваренной солью и лепил забавные фигурки, которые, пока их не раскрасишь, похожи на резиновых девчачьих пупсов – и на греческих богов в миниатюре. Вялые губки распушены, пустые глазницы смотрят в вечность.

Вот истукан в растянутой шляпе с английским двойным козырьком – мясистый нос, капризный начальственный рот, жадные, навывкате глаза. Вылитый Ахилл в античной каске.

Шахтер напоминает Вакха, вывалившего пузо перед нимфой.

Секретарша сдобная, как полагается.

Мякиш тяжелеет и покрывается глазурной коркой; Саларьев начинал раскрашивать фигурки и – в духовку. Главное, чтобы не появились трещины, не вывернулось рыхлое нутро; так болезненно-белый грибок разрывает вздувшуюся штукатурку.

5

Они проверили объемные экраны и систему окружающего звука; на ускорении устроили прогон. И направились в комнату отдыха, размером в половину ройтмановского кабинета.

Вдоль стены, в уютном затемнении, был подготовлен многоуровневый подиум, похожий на домашний детский театр, вторая половина восемнадцатого века. Не хватало только оркестровой ямы и занавеса перевернутым сердечком. Округлые выступы, крашенные в тёмно-зелёный цвет, зависали друг над другом; серебристая подставка в центре напоминала милое усадебное озерцо. Саларьев отщелкнул футляры; должно быть, сквозь надкушенную сливу пробился простецкий запах соленых сухариков.

Они расставили фигурки по порядку. От конца позапрошлого века, когда месторождение открыли, но разрабатывать не стали, через ужасы двадцатого столетия – к дню сегодняшнему. Развал преодолен, налажена работа, и хозяину пришла пора прощаться с комбинатом. На полочки встают дробильные машины, цвет вороньего крыла, с инфернальной подсветкой. (Павел ухитрился приспособить пальчиковую батарейку и вставить крохотную лампочку). Ржавые, но миленькие вагонетки; группа милицейских оттесняет дилеров, похожих на бандитов из Техаса; вот жизнь становится уютной; бухгалтерша уснула в кресле у торшера – над ней картина с обнаженной девой, просто заполярная Даная...

Через два часа по этажу прокатился тихий перезвон, волнообразный, как позвякивает люстра со стеклянными висюльками; охрана сообщала по цепочке: *бог* приближается, встречайте.

Михаил Михалыч вошел в свой кабинет расслабленно. Походка у него была китайская: тело неподвижно, а ножки поочередно выдвигаются из-под живота. На лице застыло ласковое равнодушие, рот приоткрыт в полуулыбке, нижняя челюсть выступает, кожу в рябужках прикрыла темная небритость. Ройтман протянул вяловатую руку, ладонь оказалась холодной и влажной.

– Валяйте, что там у вас. Кофе будете, чаю? Юлик, действуй сам, на собственное усмотрение.

Юлик просиял от удовольствия; зазвенел тонкостенными чашками.

Из-за двери вынырнул помощник, бесшумно протянул мобильный телефон.

– На проводе, – твердо ответил Ройтман. Послушал, подтвердил: – Аналогично.

И дал отбой.

– Ты больше трубку не носи. Только если Сам позвонит. И Шуру Абова зови. Ну валяйте же, валяйте.

Это уже им.

Услышав имя *Шура*, Юлик на миг поскущел, осунулся, но сразу же похорошел. Так хорошеет женщина, узнав об измене любимого. Назло и вопреки всему. Выпрямил плечи, сжал

губы, ясно улыбнулся. Подчеркнуто спокойно запустил программу. Как будто каждый день сдает работу на пятнадцать миллионов. Налил себе (и больше никому не предложил) красно-черного чая, сел поудобней в кресло, спиной к любимому начальнику. И уставился в экран, не поворачивая голову и даже не пытаясь подглядеть: ну как, ну что там, нравится *ему* затея или нет.

А Павел косил осторожным глазом. Он видел Ройтмана – вблизи – впервые. Михаил Михалыч был доволен; руки сложил под галстуком и даже стал поглаживать животик большим оттопыренным пальцем.

Перед ним на трех экранах разворачивалась вся история Торинска. Купцы Задубные подвозили каторжан на разработки... Сквозь карту Заполярья, как переводная, начинала проступать картинка: охранники в белых тулупах, стреляют в воздух, мечутся лучи прожекторов, снег засыпает свежие трупы... Директор комбината, форма с лычками, чекист, листает картотеку заключенных, отбирая годных для работы в головной конторе; черный лифт уносит шахтеров в преисподнюю.

Абов вошел в середине показа. В тёмно-голубом, изысканно-неряшливом костюме, замшевых ботинках бордового цвета. Полный, низкорослый, расплывчатого возраста; ему могло быть тридцать, сорок, пятьдесят. Неопрятные усы над толстыми губами, пугачевская стрижка в кружок, круглые очки в стиле тридцатых годов. Он подставил креслице за Ройтманом; тот, не отрываясь от экранов, протянул через плечо свою расслабленную лапку, Абов ее осторожно помял.

Юлик и не пошевелился; только повел ушами, как хорошо обученный пес на охоте. Но в боковом продольном зеркале, которым архитектор закруглил пространство Ройтмановского кабинета, было видно бледное лицо: очочки съехали на кончик носа, уголки капризных губ сползли.

Ройтман смотрел-смотрел; заскучал. Но в эту самую минуту (психологи им четко, по секундам расписали, где нужно будет резко обострять сюжет) картинка развернулась, трехмерное пространство как быросло перед экраном и сгустилось в бесплотные образы. Полупрозрачный Сталин пошел вдоль Ройтмановского длинного стола. Сухая рука неподвижна, глаза белесые, как у вампира – Ройтман отпрянул, и чуть не свалился на Абова; тот брезгливо подался назад.

Сталин посмотрел на меркнущую карту комбината и тихо растворился в воздухе.

Тут же на полу образовалась голограмма стадиона; на футбольном поле из щебенки соткались маленькие клоны футболистов... Потом появился Хрущев, тугой и быстрый, как гандбольный мяч, а за ним последовали комсомольцы; был красиво показан бардак 90-х, после чего настала кульминация.

От экрана отслоился образ Ройтмана. Вокруг него была толпа директората, сучили ножками молоденькие журналистки, а он сквозь них перетекал к рабочим, которые напоминали войско мертвых из кино про хоббитов и орков...

Немного не дойдя до прототипа, искусственный Ройтман растаял. Настоящий Ройтман мягонько похлопал.

– Ну, браво, браво. Абов, что скажешь?

Тот отвечал певуче, сливая «л» и «в» в один обтекаемый звук:

– Тавааантвиво. Тавааантвиво. Красиво. Но это ж не статей в энциклопедии. Это же должно быть житие.

– Короче можешь?

– Короче могу. Но не буду. Вы меня ведь за другое держите. – Абов резко поменял стилистику; высокопарность уступила место грубоватому банкирскому наречию; но интонация была все та же, чуть насмешливая, панибратская. – Не отражен выдающий вклад партии, правитель-

ства и лично. За это по гоовке не погвадят. Мы с тобой в какой стране живем? В Рос-си-и. А в России забывать про Главного нельзя. Ты, Юлик, не серчай на старика.

Юлий наконец-то посмотрел на Абова. В этом взгляде ненависть смешалась с собачьей покорностью; Саларьеву даже стало жалко Юлика – что за ужасная у них профессия, приходится терпеть такие унижения, и все из-за проклятых денег.

– Я здесь только за идеовлогию. А по креативу все океюшки.

И Абов засмеялся носом, шумно задувая воздух в густые седоватые усы.

Ройтман полурастерянно развел руками.

– Ты чего? Это же на память, а не на продажу.

– Ага, не на продажу. А если что не так – ответим все равно по полной. Лишняя подпись, ты же знаешь, лишний срок. Миш, послушай опытного цензора: оставь себе, как есть, а покупателю пусть поаппрейдят. Чтобы не ты был главный благодетель, а Хозяин, б’дь, Земли, б’дь, Русской. Хотя, ты знаешь? и себе не надо оставлять. Времена сейчас не те, чтоб кукарекать. Обыщут яхту, найдут самиздат и зажопят.

– Не, мы люди правильные, верные, нас не тронут. Скажут шагать налево – пойдем налево. Скажут направо – пойдем направо. – Ройтман как-то кисло улыбнулся.

– А если скажут нале-напра?

– Значит, зашагаем и налево, и направо.

6

В знак благодарности Михаил Михалыч предложил *откуш*ать. Юлик сбросил маску равнодушия и поспешил за Ройтманом в комнату отдыха, заранее посапывая от удовольствия.

Ройтман проскользнул в распахнутую дверь, и сделал стойку. Ну-ка, ну-ка, это что такое? Юлик умиленно наблюдал, как маленький, миленький *божик* изучает зеленые горки со всякими фигурками, знакомых людишек в прикольном игрушечном виде. Он присел, стал нежно брать фигурки, двумя пальцами, как правильные старорежимные старушки берут кусковой, крупно колотый сахар; ставил на ладонь, покачивал и возвращал на место. Одну фигурку даже понюхал: вкусно пахнет; что, она из теста? да не может быть. Он сиял, как младенец в кроватке, когда над ним склонилась обожаемая мама. Никакого ласкового равнодушия, никакой рассеянной полуулыбки, показной усталости от жизни!

Кто им слил, что в детстве Ройтман собирал солдатиков? и не просто собирал, а сам их делал, отливал из душного свинца. В классе все его гнобили; на общей ненависти к тощему еврею маленькие немцы примирались с русопятами, а те готовы были спеться хоть с татарами, лишь бы задразнить него: жжжиденок!

Он шел один домой. По пути сворачивал на свалку, разматывал старые кабели, подбирал на помойке консервные банки. Лучше всего из-под сгущенки: из них удобней выливать раскаленную массу. Из кабелей вытягивал тугую свинцовую жилу, банки оттирал от ржавчины и прокачивал на газовой плите. Остатки краски темнели, становились цвета вареной сгущенки, вздувались пузырями, лопались; коммуналка пахла тяжело и давяще, но соседи были на работе.

Потом он размачивал скользкую глину, по любимым историческим книжкам с картинками лепил пехотинцев, уланов, драгун, красноармейцев восемнадцатого года, командармов... Глиняные заготовки обмазывал ворованным больничным гипсом, сушил белесые болванки и раскалывал стамеской на две части. Сверкающим расплавленным свинцом упрямо заливал гипсовые формы. Не выходило ровно – выковыривал обглодыш, снова плавил. И опять, пока не получалось, как задумано.

Половинки солдата склеивал (долго, тщательно шкурил поверхность стыка); брал кисточки, выдавливал краски из тяжелых тюбиков; форма образца героического 12 года, доло-

ман и ментик ярко-красные, воротник и обшлага синие, потому что это лейб-гусар. В самом низу живота холодела радость; она росла и расширялась, и все обиды были ерундой.

Так он заработал юношескую астму. И научился пространственно мыслить. Один занимает позицию здесь... другие столпились у края... все понятно, обойдем их с тыла и нагрянем.

Ройтман стал похаживать вокруг музейчика, губы растянулись до ушей.

– Это мне?

– Вам, – ответил счастливый Юлик.

– А вот это кто – я?

– Вы.

– И это?

– И это.

– Похож. Ну, ребята-октябрюта, удружили. Даже настроение улучшилось.

– А чего ж оно плохое? Неприятности? – поинтересовался Павел.

Юлик и Абов натужно смолчали. Они стояли рядом, полуотвернувшись, как магниты с одинаковыми полюсами.

Ройтман напряженно посмотрел на хлипкого историка: он это что, всерьез? Светлые, неряшливо обстриженные волосы, клочковатая веселая борода. Профессорские узкие очки, прямоугольные, без оправы; кожа смуглая, угристая, немного вялая, под глазами черняки. Выражение лица задорное и нервное; походка прыгающая, птичья; напоминает нахального гнома. Чужой, но все-таки не лох, соображает. И, кстати, может пригодиться – в новом деле. Ладно уж, ответу тебе, гном.

– Как тебе сказать. Если ты в бизнесе, у тебя всегда неприятности. Либо маленькие, либо большие.

Михаил Михайлович потемнел лицом, как будто отравился раздражением.

– Ладно, давайте не будем о грустном. – И хлопнул в ладоши. – Несите!

Зазвенели серебряные покровцы; божественно сияющие официанты парили в воздухе. Ройтман снова оттаял, сам заговорил о наболевшем. О том, чем будет заниматься *после*. Конечно же, о главном – ни полслова, ни ползвука, никто не должен знать заранее, иначе инфа утечет – пиши пропало. Но про боковички пожалуйста, не жалко; тоже очень интересное занятие.

Он обращался исключительно к Павлу.

– Что человеку надо? Есть-пить, размножаться, строиться, болеть и умирать. Все остальное может поменяться. А это навсегда. Давай поэтому о колбасе поговорим. Страшная в стране у нас нехватка свинины, ты сам подумай. – Суп он ел прихлупывая, жадно. – Я в премиальную колбасу кладу парное мясо, а в остальную размороз. А ведь не должен. Против технологии. И кадров нет. Нет свиней и нет людей, остального-то добра хватает.

Взгляд *бога* снова оживился; голос звучал энергично. Его невероятно увлекала перспектива комбината, он рассказывал, как вел экскурсию. Вдруг Ройтман будто подавился, мышцы лица распустились, и он опять безжизненно провис, превратился в вялого и ласкового истукана.

– Вот что, ребята... Думал, думал, пока говорил... Абов, наверное, прав. Не надо лучше рисковать. Доводите музей до кондиции. Пусть там Хозяин засветится, я его, дескать, благодарю сердечно за решение, и поставьте англикосов на финал.

– А какое решение он принимает? – спросил Павел.

– Да какая разница. Сидит, кивает с умным видом, а я прогнулся, делаю доклад.

– О чем доклад?

– Слушай, ты всегда такой любопытный? О чем-нибудь. Главное, чтоб выражение лица было такое вот... как в детском саду после тихого часа.

И Ройтман показал покорную улыбку.

– И вам не жалко замысла? Это же пошлятина? Как говорили в нашем детстве, невзправду. Вы не находите?

Абов с Юликом, как по команде, опустили головы: ничего не слышали, не видели, мы тут вообще случайно.

Ройтман побледнел, заиграл желваками, но все-таки в конце концов сдержался.

– Историк... я уже забыл, что бывают такие слова. Замысел, пошлятина, взправду. Вы не находите... Ты еще на французский перейди. Если хочешь откровенно, то да, конечно, жалко. Только себя еще жалче. Ты меня понял?

– Понял, дело ваше, как скажете. А в куклах тоже добавляем сценки?

Недолгое молчание. Вдох. Выдох.

– Тоже.

7

После обеда Ройтман с Абовым остались порешать вопросы, а Саларьев с Юликом спустились ниже этажом. Кабинетик располагался под комнатой отдыха *бога*; Юлий иногда замирал на секунду, поднимал глаза, задумчиво смотрел на потолок.

Они условились, как будут завершать работу, подписали акты. Юлик начал намекать, что надо бы уже поторопиться, но Павел попросил его:

– Погоди, мне надо позвонить по делу.

Сначала он набрал свой собственный номер. Городской, домашний. Безупречно ровные гудки. Никто не подходит. Достал бумажку, повторил попытку дозвониться этому... Старобахину. Нет ответа. Тоже равнодушные гудки. Зато на телефонной станции – наглухо занято. Первая попытка, вторая, пятая...

Юлик демонстрировал терпение.

На шестом заходе трубку все же взяли. Хриловато-неприятная девушка дослушивать не стала:

– Да, да, гражданин, мы все знаем. Тут бульдозера по кабелям прошли, строят, строят, понимаете, мужчина, вышел сбой. А скоммутировали по ошибке. Ваш номер перебросили на девять-девять девять, а их – на ваш, сто девяносто шесть. Денька три еще придется потерпеть. Все вернем обратно. Не, раньше никак. Ну я же говорю вам, мужчина, как только, так сразу. Вы не одни такие. Там снова надо все разрыть, а бульдозера ушли.

И опять слышались гудки.

Вторая глава

1

В три Саларьев вернулся домой и позволил себе подремать. На бреющем полете, не проваливаясь в настоящий сон. Через час неохотно поднялся, замешал тесто, быстро и небрежно долепил фигурки. Хочет Ройтман, чтобы Англичанин принимал бразды правления – примет. Просит пристроить Хозяина? ладно. Этот корпулентный человек будет высидеть за гостевым столом, читая важные бумажки и мимоходом изучая маленького Ройтмана; перед ним часы с державным двухголовым; Ройтман, Ройтман... свой собственный праздник испортил. И Тата хороша. Трубку бросила, а не звонит.

Павел раскрасил соленых болванчиков, отправил в раскаленную духовку, смыл с пальцев соль и тесто (его приятно мять, покуда свежее; как только начинает подсыхать, резко стягивает кожу), уселся поудобней в кресло, отщелкнул от стены столешницу, поставил ноутбук и попробовал развлечься квестом. К сожалению, игра сегодня не пошла, он застрял на Первом Уровне, бесполезно потеряв Четыре Жизни. Юные айтишники сквозь зубы объясняли, что это все отстой, туфта для старичков; теперь герой проходит через Эпизоды, а если вылетает из сюжета, то возвращается на Эпизод назад, и система меняет сценарий. Но идея Уровней Саларьеву понятнее, он не спешит отказываться от привычных игр.

Полистал Живой Журнал, ответил на попутный троллинг, сам по ходу дела зацепил кого-то, но без нервного подъема... так, поставил галочку. Равнодушно прошерстил Фейсбук: ни одной прикольной фотографии, раскадрованной ссылки на клип или хорошей дразнилки, на которую бросаешься, как бык на красную тряпку. Все неинтересно и неважно. Он даже ворону приманил на подоконник и скормил ей огрызок вчерашнего мяса; ворона мясо взяла, скосила желтый глаз и улетела в сумерки, поджав чешуйчатые ноги.

Шесть часов. Семь, восемь, девять. Духовка оплыла жарой; окна распахнуты настежь; в полдесятого, не зная, чем еще заняться, Павел снял телефонную трубку, поскрипел тугими кнопками, набирая свой собственный, перекинутый на неизвестную квартиру, номер. Кто же поменялся с ним ролями, интересно?

Через минуту он услышал голос.

– Алооу.

Голос был низкий и сочный. Женщина, не девочка. Молодая и телесная, самоуверенная, нежная. От нее как будто веет запахом промытой и не насухо вытертой кожи; фиолетовый голос, ночной. Говор не вполне московский, с южным отсветом.

– Здравствуйте. Я вот по какому вопросу. Вы только не пугайтесь. Мы с вами поменялись номерами.

– Когда это мы с вами менялись?

– Нет, извините, вы не поняли... я не точно выразился... не мы, а нам. Что-то на станции неправильно скоммутировали, и мой номер стал вашим, а ваш – моим.

– А, да-да, мне муж уже звонил. Так это, значит, вы?

Господи, что за голос.

– Как? он дозвонился? Вы наконец-то включили мобильный?

– Что?! А, это. Да-а-а. А вы откуда знаете?

– Оо, я много знаю.

– Интересный поворот. Вы что ж, со мной флиртуете?

Она спросила без кокетливой игривости; мягкая улыбка растворилась в голосе.

– Да нет, – смутился Павел. – Просто. Хотел сообщить. Ваш муж пытался к вам пробиться, все время попадал ко мне, вот мы...

– Жаль. А то уж я подумала. Приятно было познакомиться.

Мне тоже, – хотел ответить Павел, но не успел.

Отбой.

2

Так, наверное, сходят с ума.

Саларьев вертелся вокруг телефона, как голодная собака кругами ходит у пустой, до блеска вылизанной миски: с равнодушным видом вытянется под батареей, но не выдержит и снова сунет нос в кормушку: вдруг хоть что-нибудь еще осталось?

Он говорил себе: прекрати, одевался и шел в магазин за ненужным хлебом. Возвращался, тупо смотрел на экран, гладил пальцем клавиши, но ничего не писал. И опять брал трубку, начинал набор – и сбрасывал. Еще услышать этот голос. Еще хоть раз. Чтобы виски онемели и перед глазами побежали мурашки. Как весной на первом солнце: скачок давления, кончики пальцев дрожат, мысли крутятся на бешеной скорости, и тебе легко от чувства слабости и счастья. Набрать. Не набирать. Тебе не семнадцать. Тебе сорок пять. Это невозможно. Это блажь. Без этого нельзя. Помру. И гнусный, подленький вопрос: а как же Тата?

Вообще-то Павел был нормально влюбчив; если девушка в компании ему внезапно нравилась, он позволял себе слегка увлечься ей – на вечер, без ночных намеков и тем более без продолжений. Беспечное чувство, которому не суждено развиваться и отяжелеть, действовало на него, как на гурмана действует роскошное вино. Гурман сидит с прямой спиной и не спешит притрагиваться к свежим устрицам, которые так остро пахнут морем; наливает – сам! официанты уважительно стоят в сторонке – четверть бокала сабля урожая 2005 года, взбалтывает, чтобы вино завихрилось по стенкам, долго смотрит на просвет, восхищаясь едва заметным оттенком зеленого в желтом, и, наконец, на выдохе делает крупный глоток, чтобы испытать почти болезненное наслаждение. Но вот бокал пустеет, вечер окончен, спасибо, прощайте, в следующий раз он закажет другое. Что-нибудь из вин Луары. Или, может быть, Италию.

Но все это метафоры: вино, бокал, гурманы. А Тата – не метафора, Тата лучшая часть его маленькой жизни. И самая болезненная – тоже. Об этом вслух не скажешь, засмеют. Сегодня только православные обмылки с толстой бородой и тонким голосом сохраняют верность скучным женам, потому что больше никому не интересны, а нормальный, здоровый мужчина должен постоянно внюхиваться в запахи подхвостья. Но не потому что очень хочется, а потому что принято – и надо. Положено блестять веселым глазом, пробрасывать намеки в разговорах, пользоваться репутацией ловеласа и эту репутацию поддерживать. Хотя заранее известно, что после истероидного приключения останется помойное чувство; нужно будет выворачиваться наизнанку, придумывая повод для отлучки, вернувшись за полночь, смотреть в спокойные глаза и думать: догадалась? нет? не догадалась? И давиться макаронами, от которых не откажешься, при том, что ты давно уже поужинал.

Он познакомился с Татьяной в девяносто пятом, перед общей новогодней пьянкой, и сразу же подумал: вот женщина, с которой я готов состариться. Смешно, конечно; сколько ему было? тридцать? Тридцать один? Тате, значит, все двадцать четыре? нормальные такие старички. Но что поделать, если это правда?

Павел добрался до взморья лишь к обеду: в музее перед новогодней паузой плановая консервация, объект сдал, объект принял – в общем, долгая история; выгрузил свою часть выпивки с закуской, сунул ноги в безразмерные валенки – и поспешил на залив, пока не кончился короткий зимний день. Было безветренно, темный асфальтовый лед лежал надежно,

ровно, как плита. Рифленые калоши не скользили, но Павел шел очень медленно: голенища били под коленку.

На горизонте образовалась движущаяся точка; как в рисованном старом мультфильме, мелкими наплывами она перерастала в женскую фигуру. Станный зимний свет, серый, слоистый, шел от горизонта и как будто бы подталкивал женщину в спину.

Минут через сорок они сошлись.

– Здравствуйте! – сказала женщина, и Павел для начала с удовольствием отметил, что она чуть ниже ростом. И выговор не питерский. Но и не южный. Вологда? Архангельск? Мурманск? – Я про вас все знаю, мне сказали, что фамилия ваша Саларьев, зовут вас Павлом, вы музейный, а я Татьяна Чекменева, просто Таня, приехала с Петровыми, на их драндулете и по их рекомендации... вот. Представилась. Что бы вы еще хотели знать?

А она не только маленькая, но и симпатичная. Из-под финской многоцветной шапочки выбивается медная прядь. Но при этом кожа очень гладкая, без этих суховатостей, которые так часто портят рыжих. Медовый румянец; крупные ресницы отвердели и покрылись инеем: свежесть. Интересно, есть у нее на руках конопутки? хорошо бы не было.

И, сам от себя не ожидая, сказал вдруг:

– Все хотел бы узнать. Без исключения.

Таня посмотрела на него серьезно. Хотя на такие полупошлости полагалось отвечать с кокетливой насмешкой, то ли отшивая нахала, то ли подначивая.

– Я только что закончила текстильный, но в дом советской моды не пойду, хочу работать в кукольном сегменте.

– Что? – Павел засмеялся; пожалуй, надо быть повежливей. – Какой такой еще сегмент.

– Напрасно вы так, Павел. Куклы вещь серьезная. Я расскажу. Но мы что же, так и будем стоять на одном месте? Мне холодно, Новый год как-никак.

Они пошли на берег, в двухэтажный коттедж, который сняла их разношерстная кампания – остатки студенческих дружб, одноклассники однокурсников, приехавшие на побывку молодые эмигранты. Такие дома «под аренду» только-только стали строить. Наверное, сквозь запах шашлыка пробивался привкус недовыветренного лака, но к этому моменту он запахов уже не различал: стокгольмская простуда обернулась гайморитом. Гной отсасывали детской клизмой, с затыжным отвратительным звуком. Все сильнее болело во лбу, над бровями, как будто там было зубное дупло, в котором забыли мышьяк; глазные яблоки, казалось, нарывали. Врачи молчали, хмурились; в конце концов его устроили по благу к Загорянской, знаменитому обкомовскому лору. Алмазно твердая дамочка надвинула на лоб большое зеркало, ткнула Павлу в подбородок, снизу вверх; зубы клацнули, он вскинул голову и сразу ощутил, как в носоглотку входит что-то чужеродное, железное, стальные спицы, подключенные к прозрачным трубочкам. По трубочкам пошел мгновенный холод, и боль исчезла. Через несколько минут профессор Загорянская выдернула из носоглотки спицы, как вытягивают гвозди из стены, вложила в ноздри туго скатанные ватки и резким голосом произнесла: ну что же, товарищ Саларьев, будем надеяться, все состоялось. Верхние ткани убиты, слизистая воспаляться больше не будет.

После этого он не болел ринитом, забыл про нафтизин, галазолин и прочие необходимые в промозглом городе лекарства. Но вместе с насморком раз навсегда пропали запахи; он даже собственный одеколон не слышал, и, не желая плохо пахнуть, сбрызгивался слишком щедро, так что сослуживцы за спиной смеялись: купался он, что ли, в парфюме?

Они с Татьяной сели рядом, отвлекались на общие тосты, но в основном вели отдельный разговор. Таня говорила о своих любимых куклах; тон был деловито-ласковый, так педагог беседует с талантливым учеником. Оказалось, что многие теперь решили увлечься куклами; среди заказчиков встречаются мужчины («специфической ориентации?» – «ну, вы напрасно так»). Таня гордо сообщила, что она универсал; умеет реставрировать, а может разрабатывать сама.

– Покажете как-нибудь своих куколок?
– В гости набиваетесь? Вот так сразу?
– Нет, вы не так меня поняли...
– Почему же? я уверена, что все именно так поняла. И знаете... а почему бы нет? Заходите, адрес и телефон я вам оставлю.

Когда все устали поздравлять друг друга с новолетием (по-простому в их кампании не говорили) и наступила неловкая тишина – *ангел пролетел, милиционер родился*, – Тата неожиданно запела. Голос у нее был простой, неглубокий, но чистый, без глуховатых тонов и надлома; она ровно вела мелодию, как бы не мешая песне течь через себя. Больше не был слышен ржавый призывок вилок, скребущих по пустой тарелке; все стали слушать, потом кое-кто начал подпевать.

А что она пела? Надо же, забыл. Что-то грустное, как полагается, но без подвизгов, с которыми поют на юге, опрокинув для порядку самогону и набросив на плечи платки невыносимых расцветок, фиолетово-зеленые, красно-салатовые, с люрексом. Он только помнит, что песня была советская, из разряда презираемых в его кругу; это потом он отпустил свои чувства на волю (выражение Таты), и при осторожных, ровных заходах ее голоса: «Летят перелетные птицы в осенней дали голубой...», – начинал бороться со слезами. А тогда испытывал какую-то неловкость, хотя кто ему была Татьяна? только познакомились и позволили себе слегка пофлиртовать. Тате подпевали, усмехаясь; они-то думали, что все это с иронией и по приколу. А Павел понимал, что – нет, всерьез. Когда в детстве к нему приезжала бабуля, они спали в одной комнатухе; чихнув, бабуля непременно говорила: «Будь здорова, як корова, плодovitа, як свинья, и богата, як земля»; каждый вечер ровно в девять она выключала свет и включала громкоговоритель; из приемника звучала сладкая музыка –

Снова замерло все до рассвета,
Дверь не скрипнет, не вспыхнет огонь,
Только слышно, на улице где-то
Одинокaя бродит гармонь,

и раздавался печальный голос: «Здравствуйте, меня зовут Виктор Татарский, в эфире триста тридцать первый выпуск передачи «Встреча с песней». И так этот мужчина вежливо произносил свою фамилию – *Татарский*, и такой у него был добрый, всезнающий голос, что какую бы песню он потом ни ставил, она сразу же и навсегда становилась любимой.

К пяти народ осоловел и стал расплзаться по спальням. Каждый сам решал: кто – с кем – в какую. Павел напрягся, не зная, как действовать дальше; напрашиваться к Тате, или же не торопить события. Но Татьяна сама улыбнулась, пожелала доброго утра, по касательной поцеловала в губы, и ушла к себе. Она умела держать дистанцию; потом, когда он все-таки приехал к ней на Васильевский, в бывшую раздолбанную коммуналку, задешево сданную в найм, она вела себя душевно. Как положено добрым знакомым, у которых только-только зарождается новое чувство. Не менее, но и не более того. Мы друг другу ничем не обязаны; какие отношения решим построить, такие и будут. Дружба между мальчиком и девочкой? Ну, значит, дружба. Любовь? Если выйдет. Не получится и разойдемся? Жаль, но значит, не судьба.

Показала свое производство. В широком, темном коридоре стоял роскошный сундук, еще австро-венгерский, с бронзовой защелкой, обитый по краям железом и окантованный гвоздями с рифлеными круглыми шляпками. В сундуке хранились образцы старинных кукол: опрятные дамы с фарфоровыми личиками домохозяек, разлапистые Петрушки, крохотные китaiчата. Их Тата покупала на какой-то барахолке, долго лечила, они возвращались к кукольной жизни.

В прямоугольной комнате (если встать спиной ко входу, то по коридору слева) валялись лица, слепленные из папье-маше и похожие на посмертные маски великих; затылочно-височные части; полые остовы тел и сваренные из толстой проволоки распорки. В комнате стоял неисправимый запах жженого металла, столярного клея, раскисшей бумаги. Павел представил, как рыженькая резко опускает защитную маску, щелкает курком сварочного аппарата, кончик стержня раскаляется добела, и во все стороны летит опасный фейерверк.

Другая дверь вела в пошивочную. Здесь вразлет валялись выкройки, со стульев стекали ткани. На одном из столов был вольготно расстелен алый шелк; на нем сияла вата. Это еще зачем? Швейная машинка «Зингер», черная, с ножным приводом, напоминала скрюченную и недовольную старуху. На полке возле двухметрового окна с растресканной фрамугой были выставлены туфельки, ботиночки, сапожки, размером от наперстка до младенческих пинеток; взрослые пропорции, солидные модели, игрушечные формы. И колодки! настоящие колодки, только крошечные!

В прекрасно искривленной кухне, с потайными уголками, черным ходом, была устроена покрасочная мастерская. Медовый, яичный и масляный дух. В цветочные горшки воткнуты штыри, на них плотно насажены готовые кукольные головы, как в кино насаживают на шесты декоративные черепа. Тата слой за слоем наносила краску; сквозь первый прокрас проступала жеваная, скользкая бумага, второй был мертвенным, белесым; третий розовел и наливался жизнью, последний напоминал напудренную кожу. Потом прилаживала парички.

– А где конечный результат?

– Конечный результат? А нету никакого результата.

– То есть?

– Я доделываю куклу в присутствии заказчика. Соединяю ручки-ножки, прикрепляю к тулову головку, одеваю. И всякие еще у меня есть штуки и секреты, но про них тебе пока не расскажу.

А где же, спрашивается, чаю попить? А для чаю попить – была приспособлена спальня, она же столовая, гостиная и библиотека. Большое окно, в уютном эркере; неровные стены, образующие шестиугольник. В отличие от мастерских, в спальне царил идеальный порядок. Даже, казалось, чуть-чуть нарочитый. Узорчатые покрывала, кружевные занавески, мебель исключительно старинная. Кровать – и та резная, красного дерева, с преувеличенными завитками. В вазах сухие цветы: яркие китайские фонарики, матовые лунники с отсветом олова.

Рыженькая быстро накинула скатерть – безупречно белую – на овальный стол, поставила маленькие закуски, прикрыла чайник расшитой грелкой... и тут уж Павел разглядел главное. На миниатюрных полочках, комоде, перед книжками на стеллаже во множестве стояли куколки, непохожие на те, что для продажи. Размером с пузыречек из-под йода, но вполне подробные, с детальками. Востроносые лисы с жадными маковыми глазками. Зайки на задних лапах, прижавшиеся спинами к березам и барабанившие в ужасе по пням. Семейство мумитроллей. Целая армия хоббитов. Сотни птиц – похожие на настоящих, но не сороки, не вороны; как всех их зовут, Павел не знал. Как же она их делает? связала из плотной многослойной нити, а потом сняла миллиметровый слой, чтобы распушились? но какие же должны быть спицы...

– Гениально. Как ты их смастерила?

– Не скажу. Секрет.

– И никогда не скажешь?

– Там увидим.

В Тате непонятным образом соединились мягкость, даже некоторая вялость – и корундовый характер; если что решила, значит, будет делать. И наоборот: сказала «там увидим», значит, что увидим – там. Лишь на десятилетие знакомства, когда все неприятности уже случились, она позвала Павла в мастерскую. Показала, как вяжет игрушечки старыми сапожными иглами и сбивает верхний слой опасной бритвой. А еще на столике лежали половинки кукол,

полностью готовые, но не сшитые между собою. И внутри, на уровне груди, у каждой в петельке висит атласное сердечко. Тата повела бровями: «понял теперь?» и соединила половинки, как закрывают крышку саркофага.

Поверит кто-то или не поверит, но ни разу за все эти годы он не дернулся на сторону. Даже когда доходило до края, и они изводили друг друга так, что обоим начинало казаться: путь назад отрезан, надо разрывать. На людях делал вид, что о-го-го, что не случайно он всегда в разездах; бойкий мальчик Желванцов, замдиректора по денежным делам, на дежурной вечеринке крепко выпил и завистливо сказал: у тебя, Саларьев, такие глаза, почти еврейские, с пониманием... иностранки, наверное млеют. Павел возражать не стал. Но улыбнулся.

А тут – его как будто затянуло, и несет в потоке, и нет сил сопротивляться. Голос, голос, голос.

3

Поперек сентиментальностей заверещал мобильный. Не городской, а это значит, что звонят свои. Что, у Танечки проснулась совесть и она решила помириться? Мирись, мирись. Павел сегодня слегка покобенится.

Но это была не Татьяна.

– Паша? Здравствуй, мой дорогой. – У говорящего тяжелый, заедающий акцент, как будто бы язык не умещается во рту, и звукам тесно.

– Здравствуйте, Теодор Казимирович! Раз вас слышать.

– Рад, не рад, а слышишь. Снова здравствуй.

Это их усадебный директор, великий дедушка Шомер. Он сам про себя говорит: «Я – национальное достояние! Какая нация, такое достояние».

Дедушке семьдесят два. Он управляет усадьбой с незапамятных времен; пересидел застой, бескормицу, распад системы, справился с началом беспредела. Сотрудники других усадеб в девяностых плакали от нищеты и унижения; отправляясь в питерские и долгородские командировки, в буфетах покупали только чай и кофе, бутербродики везли с собой и стыдливо разворачивали под столом. Павел этих времен не застал, но и сейчас директора заброшенных усадеб сплошь и рядом впадали в тоску и запой. Иванцову из Мелиссы, бывшему военному строителю, в крещенские морозы стало жарко. Он отрубил в усадьбе отопление – там все разворотило, разорвало полы и стены. Тот же Иванцов, напившись, задавил музейным трактором собачку агронома; нетрезвый агроном обиделся и выкусил директору кусок щеки. Директор побежал за марганцовкой, но деревенские дали мудрый совет: прижги стиральным порошком...

Павлу тогда пришлось по разбитой дороге гнать в Мелиссу, загружать директора в машину, дрожащего от боли, похожего на борова перед закланием, и самому везти его в Долгород: водитель Иванцова крепко выпил – на пару с барином, поскольку одному не полагается. Дорога была колдобистая, их трясло; Иванцов матерился и божился вперемешку: «Боже Иисусе Христе, Пресвятая Богородица, помилуй, ах, чтоб его» – и далее по чину.

В какой-то момент ему полегчало; он ненадолго затих; задумчиво сказал:

– Саларьев, сука, ну почему одним все, а другим ничего? Почему твой толстогубый жирует, как в раю, а мы в говне? Что ли ему жида помогают, скажи, только честно! ты же русский.

Они подпрыгнули на очередном ухабе; боль накатила; Иванцов завыл, молясь по-матерну.

В Приютине, конечно, никакого рая не было. Но никто и никогда не голодал. По рассказам старых сотрудниц, которые директора и ненавидели, и обожали, уже весной 91 года он почувал, что будет бескормица. Нанял деревенских распахать усадебные земли и расплатился

самогоном, который выгнал сам, на барской винокурне, найденной в запасниках. Немногочисленные экскурсанты морщились: во внутренних покоях припахивало сивухой, после дождя над картофельным полем поднимался унизительный запах сортира. Зато в тяжелую реформенную зиму у музейных были и спирт, и картошка, из бочек шел смородиновый дух соленых огурцов и серых чмокающих груздей.

А в это время у соседей из Мелиссы неверующие тетеньки-экскурсоводы считали дни до Пасхи, чтобы сходить на кладбище, где местные их зазывали: Абрамовна, Исааковна, помяните с нами нашего покойничка! Исаковна крестилась, выпивала самогону, закусывала крашеным яичком и домашним куличом. Абрамовна не отставала. Так и шли от могилы к могиле, тяжело пьянели, наедались.

В девяносто третьем к Шомеру приехали бандиты. Мерили усадебные земли, показывали розовые бумажки на вырубку лесных угодий, нагло перешагивали через канаты ограждения, открывали шкафики и шифоньеры, рассматривали на просвет бокалы, морщились: что ж так мутно, редко протираете?

Как дедушка сумел решить вопрос, никто не знает. Но больше никаких бандитов не было. Ни в музее, ни во всей округе. Глава управы лично приходил благодарить, принес в прозрачном целлофановом пакете пачки денег на восстановление усадебного храма. (Несколько пачек дедушка оттуда вынул – и лично, без расписок, роздал музейным: бог, если он есть, подождет, а людям надо как-то выживать). Через год главу управы застрелили; теперь его могила – в ограде усадебной церкви.

А сколько с этой церковью связано! местные сначала были рады, что *шомеры* открыли храм и выписали батюшку, солидного и в возрасте; потом привыкли, приходили только на крестины, отпевание, родительские, Пасху, Троицу, когда березку рубят. И на Крещение, за святой водичкой, чтоб гадать. В остальное время храм стоял полупустой, холодный, хотя бревенчатый сруб обязан был держать тепло. (Один из владельцев усадьбы, большой оригинал, построил для крестьян обычную кирпичную церквушку, а для домашних служб привез из северных инспекций древнее резное чудо, на столбах. Долгородская болотистая почва была для столбовой опоры слишком мягкой, а вечные проблемы с дренажом обернулись тем, что столбы заплесневели и подгнили. Реставраторы, похожие на лилипутов-стоматологов, заменили их, как меняют зубные протезы. Вышло не слишком удачно, дерево опять мгновенно отсырело, а храм, что называется, «гулял». Зато и выделялся – многокупольный, высокий, заостренный; зимними ночами синеватый снег медленно сползал со стрех). Даже в Рождество на службу мало кто ходил – из деревенских. Лишь скептические тетеньки-музейщицы, из уважения к отцу Борису, который вел себя по-свойски, не чиновно, помогал им копать огороды и безропотно колол дрова, – заполняли храмовую пустоту, дышали морозным паром, вежливо ждали, когда же закончится служба.

Однажды к Шомеру явилась депутация; бабки, натянувшие платки по брови, встали мрачным полукругом.

– Федор Казимирыч.

– Что вам.

– Федор Казимирыч. У соседей дожди. У нас сухостой.

– Вижу. И что теперь прикажете вам сделать?

– Нигде крестов-то больше нет. У нас одних только есть.

Шомер опешил.

– И что?

– Надо крест спилить. Иначе не будет дождя.

– Кто сказал? Кто, говорите, сказал?

– Зачем говорить? Мы – знаем.

Шомер принял грозный вид. Натужился, зная, что на толстой голове вздуются страшные жилы и он станет похож на языческого бога. Набрал побольше воздуха и заорал рывками:

– Пошли! Отсюда! Всех! Порву! Посажу! Ублюды!

Депутация попятилась, бабки отвечали уважительно:

– Да ты что, Казимирыч, не надо, мы так.

На следующий день случился дождь; от Шомера стали шараться.

Позже дедушка привадил олигархов, а когда олигархов не стало, приручил губернское начальство. При въезде на усадьбную территорию появился маленький отель, в нем уютный ресторанчик старой русской кухни.

От иностранцев не было отбоя и платили они драгоценной валютой. До поры до времени хватало денег и на реставрацию, и на умеренно-приличные зарплаты. По крайней мере тем, кто был дедушке важен. Даже старую дорогу на усадьбу, при съезде с федеральной трассы, починили сами, не прибегая к помощи бюджета. Зато теперь экскурсиям удобно добираться; к остальным музейщикам не ездят, а у них как не было отбоя, так и нет. Единственное, что дедушке не удалось – притянуть молоденьких сотрудников; исключая юного завхоза, который все же человек сторонний, не музейный, самым юным был Сёма Печонов, а ведь ему уже за тридцать. Нет молодежи, значит, нет детишек – если не считать киргизов и узбеков, но те ведут себя настолько тихо и покорно, что их никто не замечает; нет детишек, значит, царит благолепие, но, как летом кислорода, не хватает звонкой жизни; есть в их усадьбе что-то ватное, глухое. А жаль. Потому что хорошее место.

Стоит посмотреть на Шомера, и сразу ясно, кто у них начальник. Обширный нос на прямом лице, голова обритая, угловатая, напоминает крупный граненый кристалл; кожа – от неровностей – в порезах, и поэтому всегда припудрена. Любо-дорого смотреть, как дедушка, мясистый, основательный, вышагивает вместе с губернатором, ровно, твердо, горделиво. Оборотной стороной всех этих радостей был дикий норов ласкового Шомера: кого он полюбил, тому прощалось все, а с кем поссорился, тот увольнялся сам, при первой же возможности. За глаза его называли «Наш маленький Людовик», потому что он все время повторял: «музей – это я».

Но в этот раз у дедушки был тон растерянный, почти униженный, просящий.

– Слушай, Паша, слушай меня, мой мальчик. Я тебе никогда не мешаю работать на деньги, это правда, скажи?

– Это правда.

– Значит, я имею право, если все серьезно, попросить тебя о помощи и чтобы ты теперь приехал?

– Конечно. Вы и раньше могли.

– Вот именно, мой дорогой. Но не было нужды. Нужда появилась. Теперь проблема. У нас тут захватили землю.

– То есть?

– То есть приехали с охраной, натянули проволоку и копают! Копают, Паша! ты понимаешь? Знаешь, где у Мещериновых было то, собачье кладбище? у театра? там. И суд не принимает заявление, и есть еще проблемы. Кто-то очень сильный там. А кто – не понимаю. Завтра собираем совещание. Ты можешь успеть до полудня?

– Постараюсь.

– Постарайся, мой мальчик. И всего тебе самого доброго.

4

И все-таки Павел не выдержал. Без четверти одиннадцать оделся потеплее, пошел на улицу, искать телефон-автомат. На случай, если *там* стоит определитель номера. Смеялся над

Старобахиным: а что, еще остались автоматы? И сам теперь туда же. Было заранее стыдно, как бывает стыдно в детстве. В кухне очень темно и очень сладко, внезапно включается свет: мама молча смотрит, сложив свои крупные руки под грудью, а на столе образовалась горка из фантиков – мягкие конфеты «Маска» и твердые конфеты «Трюфель»; бабуля привезла на день рождения.

Погода мерзкая. Вчера температура опускалась до минус двадцати пяти, сегодня днем поднялась до нуля, а вечером опять похолодало. Тротуар блестел, как облизанный леденец; ветер бил под дых: дышать было нечем. Ноги разъезжались, он чудом не свалился на спину, с размаху. Слева, справа, спереди и сзади нависали грозные дома; этажей по двадцать пять, по тридцать. До середины все они достроены, со вставленными окнами, а сверху – пустые каркасы, черные проемы в ярком свете прожекторов. Гигантские краны понатыканы в небо, как толстые длинные иглы в черную подушечку.

И никаких телефонных будок. Пришлось доползти до метро по вымерзшей скользкой дороге; в вестибюле висели в ряд четыре автомата, пошлого синего цвета. И по двум, как назло, говорили. Что у них, сотовых нет? Мелкотравчатый мужчинка восточного вида и девочка-подросток, накрашенная так, что мама не горюй.

Саларьев, как бомж, забился в угол, откуда щедро выдувало полумертвый воздух, стал греться и ждать, ну когда же те наговорятся. Звонить под сурдинку чужих голосов – висе хорошо, зарплату получаю, высылаю денюжку... а мы тут как залудили по «Отвертке», все торчком, а он и говорит... – невозможно. Позор, себя не уважать.

Ну, наконец-то.

Ту-ту-ту. И вязкий голос Старобахина, сквозь затяжной мучительный зевок:

– Ало. Кто б ни звонил. Сейчас не буду говорить. Я токо прилетел. Я сплю. Звоните завтра.

Ту-ту-ту.

5

По пути в аэропорт пришлось заехать к Юлику, оставить у него фигурки, завернутые в свежую газету, как при переезде раньше заворачивали чашки с блюдами. Накануне, прежде чем ложиться спать, Павел позвонил, предупредил; Юлик радости не выказал, но деваться ему было некуда: рабочий день давно окончен, а строгая охрана ничего не принимает без письменной воли главного начальства.

Было еще очень рано, темный город ворочался во сне. У таксиста заканчивалась суточная смена, и он все время ерзал, встряхивал головой, шмыгал носом, тяжело вздыхал, курил и без умолку болтал, чтоб не уснуть. И беззаботно перескакивал с политических сюжетов (таксистов хлебом не корми, дай поговорить о ерунде, вроде неминуемой войны на Северном Кавказе) на техосмотры и ремонты тачек.

– Говорили мне, ведь говорили: ты ей перешей мозги. Я не перешил. Теперь ты слышишь? как колдобит? слышишь? нет, а ты послушай.

Они остановились возле господского дома на углу Старопименовского и Малой Дмитровки.

– Ты надолго?

– Минут на пятнадцать, не больше.

– А если и больше, тоже не беда. Я вздремну чуток, а то глаза слипаются. Нет, ты не бойся, мы успеем. Дорога сегодня пустая.

Водитель откинулся в кресле.

Юлик отворил не сразу. Наверное, будильник не сработал. Пришлось обождать в обширном и гулком подъезде.

Наконец, захрипел домофон.

– Ты, что ли?

Где-то в глубине квартиры раздавался мелкий вредоносный лай.

– Я.

– Второй этаж.

Юлик был в цветастом шелковом халате, в тапочках с помпонами на босу ногу, слегка припухший, сдобный. Навстречу Павлу, цокая когтями, шла тугая перекормленная такса.

– Фу, Алекс! Фу! – сдавленным голосом, как будто бы стараясь никого не разбудить, приказал собаке Шачнев.

Алекс тут же завилял твердым тонким хвостом и ткнулся в Саларьева носом; длинная морда собралась в гармошку.

Округлая прихожая переходила в безразмерный коридор; коридор уводил в темноту. А Юлик будто бы смущался и не знал, где ему разговаривать с гостем: в прихожей вроде не совсем прилично, а вглубь квартиры он явно пускать не хотел.

Ладно, никогда не ставьте людей в неудобное положение, первая заповедь музейного переговорщика.

– Юлик, извини, я тут по-быстрому, опаздываю в аэропорт. Вот недостающий эпизод, ты сам его приспособь, куда хочешь, я, честно говоря, заниматься этим не хочу, неинтересно. А программистам я сброшу все, что нужно, завтра к вечеру.

– Да ведь и мне, как ты понимаешь, все это не в кайф. Но – работа. И, потом, я думаю, что Ройтман будет этих куколок держать в коробочке, на антресолях, про запас, как старые елочные игрушки. Случись чего, а как же, вот они, тута, только от ваты отчистим. Давай сюда футляр, поставим повыше, чтоб Алекс не кокнул.

Почуяв новый запах, Алекс поднял голову, насколько позволяла старческая холка; одышливо привстал на задние лапы, но сразу шмякнулся, обиженно залаял. Звонко, въедливо, как молодой.

– Ааалекс! Фууу! – раздался голос из далекой комнаты. Голос был мужской, ленивый.

– Ну, я пойду, – сказал Саларьев.

– Иди, – обвисшим тоном ответил Юлик. – Созвонимся.

Третья глава

1

Самолет приземлился без четверти десять. Задрожал, как в припадке, взревел и безвольно пригас.

Павел набрал в телефоне: *Прилетел*. На экране тут же появилась надпись: *Сообщение доставлено. Для вас есть СМС*. Тата отвечала скорострельно:

Ура! Домой заедешь?:-)

Не успею.

(Сообщение доставлено. Для вас есть СМС.)

Жаль:-).

Жаль, не жаль, а совещание начнется в полдень; для дома времени не остается. И это очень хорошо. Совесть у Саларьева чиста, он пока не сделал Тате ничего плохого, но смотреть жене в глаза сегодня не хотелось. Потому что хотелось другого. Как ребенку хочется игрушку, про которую он точно знает, что купили: уже шуршала тонкая обертка, был слышен сдавленный шепот, родители пододвигали стул, разгребали на последней полке одеяла, пледы, чемоданы, освобождали место для коробки.

Павел ехал быстро, подворачивая руль; он вообще хорошо и с удовольствием водил. Дорога была совершенно пустая; временами возникало ощущение, что он стоит на месте, а пространство движется ему навстречу. Заиндевелые сосны. Обмороженное небо. Ярко-белая трасса, припудренная желтым: ночью прошли снегоуборочные машины, присыпали ее песком...

По радио передавали новости. Стрекочущая девушка перечисляла: продолжается процесс объединения Кореи – после прошлогодних мартовских бомбардировок об этом говорили часто; арктический шельф снова стал яблоком раздора, Канада высылает наших дипломатов, МИД выступил с официальным заявлением; к биржевым новостям; с вами была Анна Казакова. Ничего особо интересного. Саларьев надавил на кнопку сидюка. Медленно выполз дырявый язык, принял диск, похожий на таблетку. Гаснущая, как пересвеченная пленка, вяло проявилась музыка Филипа Гласса.

Когда-то числиться в усадьбе было выгодно; под глухомань охотнее давали гранты. Но грантовый период жизни завершился, сейчас он мог бы получать заказы где угодно и работать только на себя. Ни министерств, ни ведомств, ни вручную разлинованного ватмана – «мероприятия, ответственные, сроки исполнения», ни дурацких, глубоко советских теток в облоде: «А вот параграф номер семь гласит...». Думай в свое удовольствие. Зарабатывай легкие деньги. Ну, относительно легкие. Мог бы он так жить. А не живет. Почему? Разумного ответа нет. Просто потому, что хочется. Интересно и приятно. *Ненапряжно*. Павлу нравится свободная дорога, нравится просторная усадьба, нравится назойливый, ндравный директор.

Что же до науки, которая поручена Саларьеву, то она скорострельно померла; после нее, как в разоренной богадельне, остались разновозрастные старички. *Ученые*. Все мне должны, я никому не должен. Каждый день божий день спешат в библиотеку, полчаса сидят в читальном зале, три – в буфете, два в курилке. Раза два в неделю посещают *сектор*. Все вокруг обшарпанное, милое. Здравствуйте, Абрам Петрович? Добрый день, Иван Ильич! Чайку? А что же! И чайку. Между дээспэшными шкапами – чайный столик, тихо, хорошо, в горшках тысячелистники. Пыльные, надежные. Звяк ложечкой, звяк. Вспоминают прошлое, ругают выскочек, хвалятся болезнями; вдруг лицо у одного из собеседников меняется; он выпячивает челюсть,

грозно морщит нос, страсть и ненависть клокочут в голосе: а слышали? вчера на конференции? NN сказал? Дурррак!

А ведь каких-то тридцать лет назад великие ученые еще встречались. В аудиторию, скрипя, входил рассохшийся Каверский. В тёмно-синем, непомерно длинном сюртуке, при галстуке в горошек и почему-то в заячьей ушанке, завязанной на детский бантик. Как бы не выдерживая собственного роста. За ним, как девочка влюбленная в учителя, семенила маленькая жена в бежевом коротком пальтеце из мягкой толстой ткани; на ее лице сияло выражение застенчивого счастья. Она садилась в первый ряд и не отрываясь смотрела на мужа.

– Здравствуйте, Елена Николаевна, – с подбострастной неприязнью, но достаточно громко, чтобы Каверский услышал, шептало ей деканское начальство; она, сияя, отвечала:

– Здравствуйте! – но головы не поворачивала, как бы опасаясь на секунду отлепить свой взгляд от мужа.

Подслеповато и застенчиво, а на самом деле очень зорко и почти тщеславно, Каверский оглядывал публику. Старомодно (при этом четко отмеряя меру старомодности) кланялся первому ряду, где восседал синклит заведующих кафедрами. Потом еще раз, чуть не в пояс, остальной аудитории. На секунду зависал, как молодой комар перед укусом, и вдруг переходил в словесную атаку. Острый голос протыкал аудиторию.

– Прошу прощения за дерзость, но не могли бы вы оказать мне милость, ну закройте же окно, сквозит.

Наконец, все окна были закупорены, двери наглухо закрыты, студентки замирали в умственном томлении; он начинал стремительно картавить.

– Прошу прощения еще раз. Видите ли...

Это фирменное «видите ли» срабатывало безотказно; так йоги достигают просветления, хлопая в ладоши. Студенты трепетали; клочковатая, занудливая лекция звучала цельно; разрозненные пазлы стыковались. Отрешенный лектор наслаждался, наблюдая, как смущают юную аудиторию фривольные цитаты из античных классиков, дошедшие до нас благодаря сортирам (*это наилучший социальный показатель – значит, стихи на слуху*).

Голос становился все острее и пронзительней, все громче свиристел в ушах; студенты ловили каждое слово, строчили в черных клеенчатых тетрадах за сорок восемь коп., неприязненно затихшие профессора сидели смирно.

Одну из этих лекций по истории античности Саларьев и сейчас мог повторить дословно. Передразнивая интонации. Точно повторяя жесты.

Видите ли... (*Полуминутное молчание. Все замирают. Каверский продолжает говорить.*) В обязанность профессионального историка входит ежедневное преодоление хронологического провинциализма. Он должен предпринять усилие, покинуть современную обочину, переместиться в глубь событий, разобраться, по слову великого Ранке, *wie es eigentlich gewesen war* [*Как оно, собственно, было (нем.)*]. (*И, конечно, никакого перевода. Ни с немецкого, ни с арамейского, ни с древнегреческого. Потому что – «всякий знает». Ах, вы дошли пока до альфа-нурум? Я фраппирован, фраппирован... но продолжаем.*)

Но что же это значит – знать, как было?! Античность умерла; умерла бесповоротно, и то, что мы сейчас имеем, от бесчисленных статуй на улицах Рима до греческих скульптур в Британском музее, суть следы античности, но не она сама. Античность, познаваемая нами, никогда (*с капризным напором*), никогда не была такой, какой нам кажется. И никто и никогда (*еще упорней и еще капризней*) ее не восстановит в прежнем виде. То есть, не познает, как она была. Мы только можем бесконечно двигаться навстречу ей, как движется восточный караван навстречу уходящему оазису. Не имея шансов до него добраться.

Но зачем же в таком случае двигаться? Затем, что мы творим через познание – самих себя. Совершив «усилие воскресенья», мы никогда уже не будем прежними. *Каверский замирал и осторожно слушал отзвук собственного голоса.*

Лет через десять, оказавшись в Цюрихе (жена азербайджанского посла заказала семейный музей), Павел заглянул в Университет. Томас Манн, «Волшебная гора», и все такое. Великолепный атриум – прозрачная, сияющая сфера. Задираешь голову, и видишь, как студенты носятся по лестницам, вверх-вниз, маленькие, кропотливые, смешные. Воздух, просвеченный солнцем, стоит синеватым столбом, от пола и до купольного потолка.

Саларьев сунул нос в аудиторию. И надо же – за кафедрой стоял Каверский.

Располневший, с выступающими щечками, он привычно горбился. Голос был по-прежнему гнусавый, сильный. Но какой-то затупившийся и безопасный. Не поднимая глаз, Каверский читал по бумажке. Вводный курс истории России. Факты, даты, имена. Записали? Следующая тема. Заграничные походы Александра Первого.

Студентов было мало. Они лениво конспектировали лекцию нудного профессора. На первом ряду, сияя прежними глазами, сидела постаревшая Елена Николавна. Огромное старинное окно было настежь открыто.

Павел осторожно вышел; никто не оглянулся на него.

2

Группа экскурсантов в шерстяных разлапистых бахилах скользила по наборному паркету. Дежурные старушки по-учительски, поверх очков, смотрели на заезжих посетителей. В роскошной зале было гулко, пахло мастикой и клонило в сон.

Экскурсанты сгрудились у родового древа и с любопытством слушали заученный рассказ о том, как Петр Борисович Мещеринов, годы жизни 1652–1719 (на поясном портрете слева), был любимцем государя императора Петра Великого, состоял в трех браках («жены у меня не заживаются»), прижил четырнадцать детей, из них тринадцать были девочки, признал семейных внебрачных сыновей, а скольких не признал, и последним браком сочетался с пожилой княжной Одоевской, безнадежно некрасивой, сказочно богатой. Сын Мещеринова, граф Борис Петрович, на поясном портрете слева, суровый, жилистый мужчина, унаследовал не только все долги отца, но и угоды мачехи. Он сначала сделался любимцем государыни Елисавет Петровны, а после поддержал Великую Екатерину и поучаствовал в «ропшинской нелепе», убийстве государя императора Петра Феодоровича.

Состояние Мещериновых умножилось, влияние распространилось, и единственный наследник граф Петр Борисович родился богатейшим человеком. На карте справа можно видеть земли, принадлежавшие Мещериновым по ту и эту сторону Уральского хребта. Темно-синим цветом отмечены заводы и мануфактуры – вон до той черты, вдоль Чусовой, розовым конторы по скупке меха – беличьего, лисьего, собольего, фиолетовым обширнейшие пахотные земли, черным заштрихованы соляные копи в районе Вычегды и Солонихи, оранжевым речные фермы, где выращивали жемчуг, а зеленым – архангелогородские китобойни, за которые когда-то враждовали князь Меньшиков и барон Шафиров. Враждовали Меньшиков с Шафировым, а досталось все Мещериновым.

...Экскурсанты вздрогнули: мимо них, сосредоточенно глядя в тарелку с дымящимся супом, только бы не расплескать! – прошла смотрительница, обвязанная серым пуховым платком...

Первенец Бориса Петровича Второго, Петр Борисович Третий, имел несчастье быть уродцем, росту чуть повыше карлика. С детства у него начинает нарастать горбик, грудь впалая, руки длинные сверх меры. Как все Мещериновы, он страстный женолюб, но любое женское кокетство видится ему ловушкой. Наверное, именно по указанной причине он был заядлый театрал. Вот единственное прижизненное изображение графа, очень позднее, домашнее.

Графу здесь пятьдесят пять – пятьдесят семь лет. Петр Борисович сидит в роскошном кресле, одутловатый стиль Людовика Четырнадцатого, но кресло будто бы подпилено и сплющено под неуклюжую фигурку. Подперев рукою щеку, с какой-то щемящей грустью старенький ребенок с седой артистической гривой смотрит на сцену домашнего театра. Крепостные актеры представлены в комических позах. Возможно, здесь отражена комедия самой Екатерины.

– Кстати, наш музей планирует интерактив!

– А в какой форме интерактив?

– В форме детей. Из долгородской школы-интерната. Они тут будут всякое разыгрывать. Приезжайте на масленой, сделаем!

О театральных пристрастиях Петра Борисовича Мещеринова вы узнаете из экспозиции, размещенной в здании усадебного театра, куда мы перейдем позднее. А сейчас, пожалуйста, внимание, молодые люди, вам нужно отдельное приглашение? собираемся в главном зале, просьба не разбредаться. Пожалуйста, бахилы не снимаем.

Не снимаем бахилы, сказала, там паркет наборный, что будет, если каждый – по нему – подметкой?

3

Начальников и благодетелей дедушка встречал официально, в барском кабинете, прозванном «Фонарик» – с белым полукуполом, коринфскими колоннами, малахитовыми вазами на золотых ветвистых ножках. Отсюда сквозь сплошное застекление открывался мощный вид на Храм Цереры, Беседку Дружбы и Собачье Кладбище; было просторно, светло и безжизненно, а на стене висел портрет Благословенного. Царь, вытянув плотные ноги в белых лосинах и прикрыв рукою в перстнях пышный гульфик, обсуждает с юным графом М. план послевоенного освобождения крестьянства.

Пружиня на царском диване, прихлебывая чай из тонкостенных чашек с вензелями, начальство становилось важным, снисходительным. Ну что, хотите волю? ладно, мы дадим. Знало бы оно, в каком кошмарном состоянии, из какой помоечной дыры был извлечен диван, как он вонял кошатиной – и, разумеется, никто из государственной фамилии не располагал на нем филейные части!

А на антресолях было скопище уюта. Дубликаты мебели: два одинаковых бюро, отделанных черным африканским деревом, инкрустированный секретер, с сочными зелеными листочками и беленькими розочками; детский шкафчик из дешевого ореха, невесомый столик-бобик, проваленное кресло толстой рыхлой кожи, уютная подставочка для ног, массивный барский стол, покрытый бильярдным сукном. Протискиваясь между реквизитом, посетитель втягивал живот; выглядывая в окна, замечал, что между рамами набит сухой курчавый мох, похожий на табак.

– Павел, дорогой мой, входите! Мы еще не начинали! Вишнепочки? Моченого яблочка?

Шомер восседал в любимом вольтеровском кресле и потчевал расстроенных сотрудников: саблезубую старушку Цыплакову, их главного хранителя и по совместительству всеобщего тирана, молодого-бойкого завхоза Желванцова, блаженного смотрителя усадебного храма Сёму Печонова. На коленях у директора лежал его любимец, черный кот Отец Игумен, в домашней версии Игуша, огромный и безвольный; задние лапы с розовыми пяточками долгомясо свисали вниз, как копченые ветчины на картине раннего голландца. Игумен тяжело, залиvisto мурлыкал, и отовсюду, с подоконника, из-под батареи и даже с детского резного шкафчика на Игумена со странной смесью равнодушия и зависти смотрели многочисленные

кошки и коты. А во все цветочные горшки колдовским опасным частоколом были воткнуты заточенные палочки для шашлычков – чтобы эти твари не записали и не погрызли.

От вчерашней растерянности у дедушки не осталось и следа: он твердо улыбался и профессионально изображал радушие. Лысина его была припудрена и напоминала печеную грушу. На месте порезов краснели мелкие обрывки пористой бумаги: брился перед совещанием, готовился.

– А вот прошу вас, Сёма, я не слишком фамильярен? посмотрите на третьей полке слева – именно слева – за каталогом выставки «Москва-Берлин», там должна быть моя любимая рюмочка. А, вот и она, давайте-ка сюда, мы в нее сейчас что-нибудь нальем. Ну что, налили? Говорю первый тост, по традиции: за Приютино от моря и до моря!

Все потянулись чокаться. Цыплакова сделала глоток и, подавшись вперед, как бы дружески сказала:

– Теодор, что же это вы сахар добавляете на выгоне? Разве же на выгоне добавляют сахар? Разве же традиция у нас такая? Как будто не в своей стране живем, мы в ней как будто бы чужие.

И бодро закусила яблоком.

Шомер промолчал, не желая понапрасну тратить силы.

– Очень вкусная наливка, очень, Теодор Казимирович! – торопливо произнес нежнейший Сёма, тридцатипятилетний юноша с прозрачными незамутненными глазами и соломенной, в рыжину бородой.

– Не на своей земле живем, Семён, – неодобрительно повторила Цыплакова.

Сёма возражать не стал. Он чихнул в безразмерный платок и стал очесывать крапивницу на больших, очень белых руках. Печонов аллергик, а в усадьбе – кошачье царство. Все животные оформлены приказами: зачислить фондовым котом, поручить ежедневный осмотр территории, обеспечить беспрепятственный доступ в подвальные помещения, назначить оклад согласно должностной инструкции, из «кофейных» общих денег.

– А все-таки вы опоздали, – не дождавшись повода для спора, Цыплакова развернулась к Павлу, – а точность первая мужская доблесть. Как вы считаете? Я права? Или я не права?

– Вы правы всегда, – с вежливой язвительностью ответил Павел и подумал: понятно, почему ее тридцатилетний сын, которого все называют детским именем Козя, безвылазно сидит в Манчестере; дело не в науке, а в мамаше – попробуй выдержать такую, сгрызет, и косточки обгложет, и выложит сушить на солнце.

4

– Начинаем неприятный совещаний.

Директор театрально позвонил в каминный колоколец.

– Итак. Мы что имеем на сегодняшний момент? Вы видите, там накопили, возле театра. Павел, вы успели посмотреть? Вот хорошо. Все меня спрашивали, что происходит, я ничего вам толком не мог сказать, потому что сам не разобрался. Теперь я все равно не разобрался, но выстроил картину. Итак. Месяца три... да, три назад ко мне приехал некоторый человек, доставил бумаги. Бумаги очень нехорошие. Ему опять отходит то, что в девяносто первом нам вернули из энкаведе...

– 250 гектаров? Приданных угодий? Легче застрелиться! – Сёма затряс головой.

– Семен, вы малодушны. Пусть они стреляются. Мы не допустим.

– Вашими устами, дорогая мадам Цыплакова, но бумаги правильные. А человек, который приходил с бумагами, неправильный. Очень равнодушный человек.

– В суд пойдем. Голодовку объявим. Поднимем общественность...

– Мадам, я вас глубоко уважаю, но дайте мне договорить.

- Что же это мужчины такие пошли. Словоохотливы, как женщины.
- Итак, благодарю и продолжаю.

5

Три месяца назад на территорию усадьбы въехал черно-синий «Бентли», замызганный навозной грязью.

Из машины бодро выскочил мужчина средних лет, широкой кости, крепкий и развязный, похожий на недослужившего полковника из тыловиков. Выяснил у гардеробщиц: «где начальник?» – и отловил директора на выходе из складских помещений, где хранилась основная машинерия.

– Шомер? Тема есть. Куда пройдем?

Шомер оценивающе посмотрел на человека и повел его в Овальный кабинет.

Мужчина оглядел царя в лосинах, плюхнулся на царское седалище, по-хозяйски махнул рукой: мол, и ты присаживайся, дед. И начал объяснять – без нажима, хотя грубовато. В приусадебных угодьях начинают строить коттеджный поселок. С теннисными кортами, новым прудом для рыбалки, рестораном и охотничьими домиками. Пустошь, где песчаные холмы спускаются к озерам, станет территорией сафари – зимнего, заметим, не баран чихал – сюда завезут настоящих медведей, зубров, выпустят десяток рысей, росомаху; росомаха будет преследовать лис, пробивая короткими лапами корку снега и замирая в ожидании добычи. Собственно, от Шомера им ничего не надо, только чтобы шум не поднимал и не мешался. Неудобства компенсируем, ты понимаешь. Разрешения, какие надо, есть. А какие надо будет, донесем.

И мужчина вытянул ноги в сияющих черных ботинках без ранта, точь-в-точь, как император на картине.

Дедушка попробовал использовать еще один привычный ход: натужился, чтобы от висков к подглазьям побежала сетка фиолетовых сосудов, а веки по-бабьи набрякли; внушительно заговорил, тяжело разлепляя слова. Про то, кто покровители усадьбы, кто защитник. Чем кончались прежние наезды. Что будет, если...

Мужичок сердито перебил.

– А если – ничего не будет. Уверяю, Старый. Ничего. Это не наезд, Старый, это решение, почувствуй разницу. Но не хочешь, как хочешь, шуми. Вот тебе копии решений, ты покажи своим юристам. А они у тебя, кстати, есть? Только давай торопись. А то включу крутую артиллерию, и разнесу вашу богадельню к чертовой матери. Будет вам Музей Революции. Но денег теперь не проси. Надо сразу было думать.

Звонко хлопнул по коленям, и ушел, не попрощавшись.

Дедушка остался посидеть на государевом диване. Проследил сквозь остекление, как роскошная машина катит по вязкой аллее; сейчас нахал не сможет развернуться и униженно сдаст задом.

Вот-вот. Что и требовалось доказать.

Незванный гость уехал; Шомер вызвал Желванцова. Тот влетел в кабинет – сияющая морда, рот растянут до ушей – и радостно задал свой вечный вопрос:

– Наше вам, Теодорказимирыч, какделаничего?

Поначалу молодая наглость Желванцова необычайно раздражала Теодора; он с трудом уговорил себя зачислить замом по хозяйству этого двадцатичетырехлетнего мальчика, на чем настаивала горадминистрация. Наутро после назначения хозяйственник промчал по анфиладе на беспечных роликах; смотрительницы тихо вжались в стулья, замерли, как восковые экспонаты; Теодор на него наорал: храм! музей! паркет! Но потом привык и даже полюбил Виталика. Мальчик был толковый, хорошо считал. Если что-то уводил себе в карман, то делал это аккуратно, без размаха.

– Дела не так чтоб. Слушай. Только по секрету. Никому.

И он подробно рассказал о наглом визитере. Не для того, чтоб посоветоваться (с кем советоваться? с Желванцовым? не смешите), а для того, чтобы слегка покрасоваться. Шомер в силе и возраст делам не помеха.

Дедушка набычился и потянулся к яично-желтому телефону, с красным гербом на месте наборного круга. С удовольствием послушал долгий, солидный гудок. Однако *сам* почему-то трубку не взял. Дедушка униженно поморщился, и по обычному аппарату набрал приемную. Начал разговор игриво: как ваша красота поживает, Наташенька, и где сейчас наш великий, когда возвратится в пенаты.

Желванцов сидел напротив, внимательно смотрел на деда; тот постепенно скучнел.

– Странный ситуаций, Желванцов. Губернатор у себя. Но совершенно недоступен. Наташка доложила, а он: не могу, не сейчас. Ладно, ты иди пока. Я позову. И слово дай ешчо раз. Тут что-то непонятное, тут надо секрет.

6

Утром по факсу (Шомер воздел указательный палец: по фак-су!) из приемной губернатора прислали документ. В соответствии с законом, пункт такой-то, объявляется открытый конкурс на управление музейным рестораном, гостиницей, конюшней и кирпичным заводом. Подготовить предложения... на тендер... Особенно деда обидел завод. С миграционной службой все вопросы были решены, налоговая не придиралась, начальник управления культуры был с самого начала в деле, и нате вам, открытый конкурс. А жить они будут на что?

Еще через два дня юристы областного управления по электронной почте (по мей-лу!) прислали уклончивое заключение: с одной стороны, с другой, имеются отдельные претензии, но в целом – отчуждение земель законно и судебной перспективы дело не имеет.

Пролетели сутки; к Шомеру зашел отец Борис, последние пять лет служивший в усадебном храме. Хороший, вменяемый батюшка, хоть и монах (или как это у них там называется, когда они живут без жен; Теодор не вникал), но почти интеллигентный человек, в прошлой жизни сначала десантник, а после военный психолог. Очень остроумный; как-то в усадьбу забрели ребята из спецназа; охотились на уток, заплутали. День был погожий, солнечный; отец Борис, с большим крестом поверх тельняшки, в высоких ботинках на жесткой шнуровке – подарок бывшего командира, сидел за столиком у храма и чистил грузди для засолки. Срежет потрепанный край, поболтает ножиком в миске с водой, и отправляет гриб вымачиваться в чане. Пахнет чесноком, смородиной, укропом, солью... благодать. Спецназовцы подходят, мнутя. Кто перед ними? судя по раздвоенной, солидной бороде, тяжелому кресту – священник; но тельняшка и ботинки... таких у штатских не бывает.

Отец Борис все понял, подмигнул им заговорщицки:

– Здравия желаю. Вам что, еще не выдавали спецодежду? А нам уже все подвезли, готовимся...

Обычно батюшка смотрел глаза в глаза, ровно, как в прицел, даже было порою неловко. Но сегодня сел бочком и уставился в пол.

– Теодор Казимирович.

– Я весь внимание, Борис Михайлович.

– Теодор Казимирович.

– Ну говорите же, отец, говорите. Что-то ведь точно случилось?

– Вы поймите, пожалуйста, в церкви как в армии – куда поставят, там и служишь.

– Хорошее сравнение. А что вытекает?

– Вытекает то, что я сегодня подал рапорт. Прошу благословения перевести в другой приход. Переведут – и слава Богу. А если нет... ну, значит, мне придется делать то, что здесь будет.

– А что же будет здесь?

– Здесь вас попросят снять с баланса храм.

– И?

– И передать на наш баланс.

– Но я не понял. Это же усадебная церковь? Почему возвращать? Как же так? А музей?

– Вот так, уважаемый Теодор Казимирович. Вот так.

– Я откажу.

– Вас очень убедительно попросят. Очень.

Пересилив себя, отец Борис поднял глаза.

Шомер не знал середины; тот, кто бросал ему вызов, по своей ли воле, по чужой, неважно, сразу превращался во врага. Только что он говорил с приятным, неглупым священником, но жизнь как будто вывернулась наизнанку, и перед ним оказался тупой, неначитанный поп. Вроде выражение лица покорное, почти трусливое, но на самом деле самолюбие его сжигает изнутри, все время улыбается неискренне, вон как морщинки побежали в стороны от глаз.

– Что же. Увидим, узнаем. Кстати сказать, я забыл. У нас забирают полставки, и доплату вашу я обязан сократить. Экскурсии вы все равно не водили.

Отец Борис развел руками, твердо улыбнулся: воля ваша.

После чего зависла многомесячная пауза; никаких бумаг от местного епископа, никаких строительных работ – только крохотный абзац в долгородской городской газете о том, что выставляется на конкурс прилегающая территория 248 га для проектной застройки в культ.#-массовых целях и лесные угодья в пределах охранной зоны для каких-то там рекреационных целей. Заявки подавать... о месте проведения объявят дополнительно... и ничего. Но позавчера сквозь утреннюю тишину прорвался рокот; все, кто был в усадьбе, высыпали на улицу. В полуметре от усадебного театра, за прозрачным штакетным заборчиком ухала строительная баба, сотрясая замороженную почву; во все стороны бежала тонкая дрожь: сугробы кривились, снег на крыше вспрыгивал, покорно падал вниз.

– Что вы такое? Как вам позволено? Театр! Театр! Он деревянный! – дедушка выбежал без пальто; он забыл, как говорить по-русски.

Чернявые рабочие не обратили на него внимания; баба с острым присвистом воткнулась в землю, дуб передернулся, и дедушке за шиворот свалился снежный ком. Шомер стал обтряхиваться, как раздобревший пес, и с ужасом понял: он смешон.

Из «Мицубиси», сдвоенного, похожего на бронетранспортер, вышел холеный прораб в легкой уютной дубленке; через заборчик молча протянул бумажки, и спокойно вернулся в тепло.

Это был проект строительства. На проекте значился дачный поселок, овраг расширен, огорожен, превращен в спортивную площадку с длинным кортом и большим бассейном; водоканалка плотно заштрихована.

– Это кто? Что – штрих? Значит что? – закричал дедушка.

Прораб еще раз вылез из машины, подошел к заборчику, свернул голову набок, чтобы поглядеть на план.

– А, водоканалка. Снесем. Точка обстрела.

– Вода! Как вода будет?

– Вода вам будет. Но не сразу. Не волнуйтесь, хозяин, мы вам бочку подвезем. Не звери ж.

Строители стали долбить перемерзшую землю; вечером того же дня прораб зашел к Теодору Казимировичу с зеленым целлофановым пакетом, поставил пакет перед ним.

– Вот, полюбуйтесь, что мы тут нашли, только начали рыть, углубились на каких-то полтора-два метра, и – гляди. Интересные тут, видимо, дела творились, люди явно не скучали.

В пакете, как почерневшие и сгнившие на поле кочаны, лежали маленькие черепа, с круглыми дырками в затылочной части. Под черепами стыдливо прятались кости, обломки тазобедренных суставов.

– Можете открыть еще один анатомический музей, новые хозяева деньжат подкинут, – как бы добродушно пошутил прораб; сквозь показное добродушие повеяло невнятной угрозой. – Нет, но вы точно не в курсе? Так же просто черепа не появляются?

Растерянный Шомер помотал головой. Нет, он не в курсе.

– Вы бы, что ли, узнали. – Прораб изобразил глубокое разочарование. – История все-таки. А косточки отдайте батюшке, у вас же церковь есть на территории? Пускай отпоет.

Но беда никогда не приходил одна; тем же вечером смурной отец архимандрит напомнил о желании владыки перевести усадьбную церковь на баланс Патриархии; бумаги на столе у губернатора, тот обещает положительный вердикт.

Жизнь придавила, как могильная плита, и пахнуло плесневелым холодом.

7

Весь тот ужасный день старик отмахивался от сотрудников. Хорошо, что Цыплаковой не было на месте; вернется – будет выедать кишки. Звонил далеким благодетелям; те возмущались, обещали отзвониться вечером, и почему-то ни один не отзвонился. Давление скакало; как бы ему не свалиться, нельзя сейчас сдавать позиции. Завтра утром он откроет совещание; и что предложит? Будет сидеть и растерянно хлопать глазами? Это невозможно, это против шомеровских правил. Он и так прокололся, позвонив Саларьеву в разбитом состоянии; вспоминая, Шомер неприязненно жевал губами и брезгливо морщился. Пашук его, конечно, меньше уважать не станет; он вообще хороший парень, только чересчур уклончивый, незрелый, ни за что не хочет отвечать и помимо основных обязанностей своих занимается какой-то ерундой. Но, хотя Пашук из понимающих, он все равно подумает: сдает старик. Обидно.

Пора использовать успокоительное средство. Он никогда не прибегал к нему зимой – рискованно, только поздней весной и летом. Но, кажется, настал особый случай.

Ранним утром Шомер вышел из усадьбной гостиницы; семья... то, что можно называть семьей... жена уже лет двадцать пять жила отдельно, в Ленинграде, а здесь у него был постоянный директорский номер. Посчитал количество машин на освещенной стоянке: четырнадцать, почти все комнаты на выходные были заняты; прекрасно. Даже стройка никого не отпугнула.

Дорожки парка, освещенные садовыми светильниками, были тонкие и ровные, как стрелочки на офицерских брюках; на снежных жгутиках, оставшихся после метлы, тонким правильным слоем лежал красноватый песок. На излете липовой аллеи, сквозь черные сплетения деревьев, в синеве прожекторов сиял господский дом. А ведь когда-то (если мерить мерками истории – недавно) ночью тут светился только старый бронзовый фонарь, случайно найденный в подвале. Года полтора, пока не утвердили штаты, Шомер жил совсем один, на взгорье, в чудом сохранившейся сторожке. Каждый вечер зажигал фонарь. Хоть одно световое пятно, хоть один огонек в невыносимой черноте деревенской ночи. Просыпался в три часа утра; долго слушал, как на чердаке шуруют мыши, а в подклете крыса беззастенчиво грызет опору, смотрел, как моргает фонарь на ветру (похоже на азбуку морзе), и опять засыпал.

Он повернул на боковую тропку, и, пропетляв в кромешной тишине минуты три или четыре, снова оказался в парке. В поздней его части, романтической.

Все было закрыто снегом, а снег облит голубоватой льдистой коркой, пробитой множеством мелких копытцев. Вот, царапая тонкие ноги, гуськом пробирались косули – кто-то явно их спугнул. А вот лиса мышатничала... Вокруг Приютина была хорошая охота; егеря, их воору-

женная аристократия, умели сговориться с местной властью и зачастую обходились без лицензий, благодаря чему на здешних деревенских землях обосновалось несколько помещиков: так он называл успешных, содержательных людей. Содержательных во всех возможных смыслах.

Много лет назад, в середине иссушающего августа, Шомер нервно спал. Вдруг что-то грохотнуло, потом еще (он спросонок подумал: гроза, слава Богу!), раздался счастливый лай. Теодор Казимирович оделся, вышел – перед ним стоял высокий человек, лысый, крепкий, загорелый, с уверенным въедливым взглядом, похожий на масона девятнадцатого века. Человек опустил ружье дулом вниз, и только после этого заговорил – быстро, чуть невнятно:

– Простите великодушно, разбудил, не знал, что здесь усадьба, я тут первый раз. А вы кто будете? Директор?

– Директор. А вы?

– Сергей Антонович, Прокимнов. Можете просто Сергей.

– Теодор Казимирович, Шомер.

И не добавил – «Можно просто Теодор». Он еще не решил, что будет делать: гневаться или приглашать на завтрак.

Со стороны деревни (это хорошо; значит, стрелял не на их территории), перемахнув через кусты, к ним подлетела мокрая легава; в зубах у нее, как испанский кожаный бурдюк, обвисала плотная утка.

– Ай, Ласка, ай, молодца, ай, хорошая собака, давай, давай сюда. Ласка! Отдай, сказал. Вот хорошо, вот умница. Простите, Теодор Казимирович, я понимаю, это наглость, но у меня к вам нижайшая просьба. Вы собачке воды не нальете? Мы от самого болота по жаре – бегом, у нее сердце может не выдержать.

Смуглый масон ему показался: хозяин, четкий, ясный человек, без сантиментов и вихляний. Таких директор уважал. И предложил:

– Хотите творога?

Они уплетали деревенский творог, густо заливая его сметаной, и говорили ни о чем, как будто были знакомы сто лет. Собака шумно лакала из миски, издавая звуки, похожие на всхлипы насоса.

В следующий раз Сергей Антонович забрел в Приютино уже в конце утиного сезона; они посидели, как следует выпили, закусывая солеными помидорами, с которых Прокимнов счищал кожуру, как скорлупу с крутого яйца. Потом приехал поохотиться на зимние каникулы: Шомер поселил его в бане – гостевые домики у них тогда еще не появились. А весной Теодор позвонил ему сам и попросил пострелять бобров, окончательно сгрызших плотину.

Через пять лет Сергей Антонович, сдружившийся со всем поселковым советом, получил во владение земли, в полукилометре от усадьбы; вслед за ним построились его друзья, так вокруг усадьбы и сложилось барское подворье. Кстати, это мысль, и неплохая. Надо будет позвонить Прокимнову; тут не только дружба, но и нечто понадежней, интерес: если все застроят, вольная охота прекратится. Так что *господа* помогут, заодно музею и себе.

Шомер знал свой парк наизусть, как слепые знают жизнь по звуку. В Крокодилем гнезде он построил боскетные залы. На малое Марсово поле вернул фонтанчики. Догадался, где была увеселительная роща (план ее не сохранился). Самолично, этими руками, большими, как дворничьи лопаты, ставил древесные сваи для летних катальных горок и менял скосившиеся шестеренки в механизме карусели. Карусель теперь вращается под музыкачку, мигает огоньками, детки радуются, взлетая и спускаясь на лошадках, а бабушки и дедушки любят – и детками, и многоцветным отражением в пруду, и это он без боя не отдаст, не ждите. Ну и деньги. Конечно же, деньги. Сегодня без них никуда.

Идти было трудно; Шомер астматически присвистывал, вокруг него светился мерзлый пар. Прошлой осенью, на этом самом месте, он застукал мужичка с огромной ржавой тачкой.

Издали увидел, затаился. Мужичок штыковой лопатой подрезал зеленый дерн и ровными брикетами укладывал в тележку. Выемки чернели, как прямоугольные заплатки.

– Мужчина, – Шомер подошел неслышно, мужичок от ужаса присел. – Какой же вы дадите объяснений? Это ваше?

– Да я-то что, немного вот, для сада-огорода.

– Милицию будем звать? Или сами туда пойдем?

– Зачем милиция? Не надо. Я все на место положу.

И мужичок проворно стал укладывать брикеты в ямки, ласково прихлопывая поверху лопатой и не забывая кланяться хозяину.

Дорога, огибая пруд, опять вела к усадебному дому – с тыла. В конюшне спросонок заржала лошадь, и, сама себя перепугавшись, подавилась всхрапом. Стеклоянная теплица исходила раскаленным светом; над смерзшейся плотинкой нависли мельницы, мукомольная и сукновальная; на месте скотного двора располагались баня и общежитие строительных узбеков, он в шутку называл их крепостными. Там же, в отдельном отсеке, проживали мелкие киргизы (оптом взял, целым семейством); лучших дворников на свете не сыскать. Главное, чтобы узбеками не очень-то пересекались, друг друга они ненавидят.

В каменном здании суконной фабрики стоял настоящий станок. Экскурсанты толпятся, ткачиха Валя чуть актерствует, бодро вяжет узелки и ловко меняет бобины; ткань, сползающая складками в поддон, режется потом на штуки и продается за большие деньги по заказу: рецептура шпанских сукон настоящая, версальские расцветки, красота. А там, за высоким забором, в бывшем однодневном доме отдыха НКВД, теперь поселились художники. От слова худо. Картины писать не умеют, зато умеют шастать по аллее в диком виде, летом сколотили дом на дереве и ночевали там по очереди, идешь с обходом, а они, как филины, у-ху-ху, жутко. Это все сальерьевские штучки, он их ему сосватал, говорит, вы ничего не понимаете, теперь искусство все такое. Бред. Но за аренду платят вовремя.

Шомер прошагал сквозь колоннаду; отпер черный ход – и только тут признался сам себе, что сделал этот крюк совсем не для того, чтоб насладиться утренним морозцем. Он просто не хотел опять увидеть котлован.

В подсобке, по секрету от комиссий, стоял его любимчик, тяжелый и широкий, как бизон, «Харлей». Двурогий, напряженный. Со стальными резкими подкрылками, страстный, сияющий черным огнем, развязный и слегка самодовольный... чудо!

Несмотря на зверский холод, Шомер аккуратно, по-армейски, разделся. На старомодное нательное белье (штаны со штрипками, обметанный суровой ниткой гульфик) натянул молодежавый комбинезон, с кожаным покрытием поверх утепленной болоньи. Шерстяная шапочка со специально вывязанными ушками и небольшим намордничком. Поверх нее летчицкий шлем и огромные защитные очки со шлифованными металлическими ободками. На ногах высокие берцы на гусарской шнуровке. На руках перчатки с отворотами; он по старинке называл их «краги».

Теперь он был готов. Тяжелый, кряжистый, непобедимый.

8

– Федор Казимирович!

– Гендос!

Они приобнимаются, как плотные боксеры перед боем, голова к голове, отставив обильные попы. Похлопывают друг друга по толстым спинам.

Гена – бог и царь на сорок первом километре; если хочешь почувствовать скорость, позвони ему перед дежурством: ну как там дорога, свободна? Если нет, то Гена виновато отвечает:

– Федор Казимирыч, не получится. Злодеев надо пропустить.

Это значит: ожидается московское начальство. На рассвете выставят посты и будут ждать, когда по рации придет приказ: перекрывайте! Как только сигнал побежит по цепочке, десятки пузатых гаишников выскочат на перекрестки, заранее вращая полосатыми жезлами, как ветряки лопастями: проезжай, кто может!

Вдруг жезлы замирают в вертикальном положении. Стоп. Кто не успел, тот опоздал. Теперь давайте на обочину, на обочину, я сказал!

Над мощной трассой нависает тишина.

Минута... пять... десять... дорога вздрагивает и гудит от многотонной тяжести, по раздельной на скорости сто сорок несется кавалькада, вся в холодноватом свете мигалок. Разлетается тяжелый воздух. Конь бежит, земля дрожит; ничегошеньки с тех пор не изменилось. Кавалькаду замыкают джипы, напоминающие катафалки; джипы лихо делают «восьмерку» и меняются местами, на секунду приспускается затемненное стекло: видна рука, снисходительно приподнятая: ну что, спасибо тебе, брат!

Дискоотека проехала.

Полосатая палка опять вращается, гаишник злобно машет кулаком раздолбанному драндулету, который тупо стоял на обочине с невыключенным поворотником.

– Куда ж ты мне сигналишь, не по ранжиру, скромнее надо быть.

Но такое случается редко; обычно Гендос отвечает:

– Ага, давайте, Федор Казимирыч, в шесть тридцать, но не позже. Позже на дороге будет тяжело.

Сейчас как раз шесть тридцать. Гендос считает деньги, широким, вольным жестом прячет свежие купюры в свой безразмерный кошелек, и командует по рации: внимание, пройдет Харлей, номерные знаки область, два пролета. Рация хрипит в ответ, и это значит: можно.

Теодор выжимает ручное сцепление, мотоцикл урчит и оживает.

Летом трудно ехать, потому что попа греется; зимой – потому что зима. Дорога либо смазана тончайшим льдом, как вазелином, либо покрыта мокрой взвесью, которая еще опаснее, чем наледь, и норовит плеснуть в стекло на шлеме. Но об этом успеваешь думать первую минуту-полторы. Потом еще недолго различаешь многослойный свет: на трассе чередуются подсвеченные и затененные участки, а чем дальше от дороги, тем сильнее ночь. И вот врубаешь дальний свет и полностью сливаешься со скоростью, становишься ее нервным окончанием. И нет никаких неудобств, только видно, как полупустая утренняя встреча помигивает меленькими огоньками. Через тебя несется ледяной поток; ты добавляешь газу; ничего не слышно, кроме реактивного рева, который ты вот-вот обгонишь.

Делаем рискованный маневр, на повороте круто клонимся влево, дорога будто прыгает навстречу, еще чуть-чуть, и чиркнешь бercaми. Быстрое движение, послушная машина выпрямляется; последний впрыск горючего, рукоятка газа вжата до предела, и начинается полет на предельной скорости – туда, где жизнь закончилась, а смерть еще не наступила; это счастье.

...Вот скорость падает. Мир становится обычным, различимым. В длинном свете фар виден только лишь жилет Гендоса; лицо и кисти рук в провале; он похож на негра.

– Вы рискованный старик, Теодор! – уважительно говорит ему Гена, они опять боксерски обнимаются.

Шомер, успокоенный, вернувший силы, разворачивает мотоцикл, включает послушный глушитель, и, строго соблюдая правила, неторопливо возвращается в усадьбу.

Он тихо и спокойно думает. Машин все больше. Скоро рассветет.

9

Когда он вечером звонил Саларьеву в Москву – еще не знал, что будет завтра делать, как выйдет из создавшегося положения. А теперь все стало на свои места, определилось. Жизнь вернулась в отведенное ей русло. Планчик вроде бы нарисовался, пока только в общих чертах, но главное, что есть лихое чувство: все получится! Каждому найдется место в этом плане; каждый сыграет предназначенную Шомером роль.

Сейчас он притворяется, что слушает чужие доводы, ждет от сотрудников совета, а на самом деле просто замеряет их реакции.

Пашук, как водится, скептичен. Губернатор отвернулся, карта бита... а даже если бита, что же, лапки кверху? Веселый Желванцов рисует чертиков и ничего не предлагает; ну, ему паясничать положено по чину. Семён поддакивает, лишь Цыплакова рвется воевать. Что, в общем-то закономерно, к сожалению. Он давно уже заметил – чем моложе люди, тем они податливее и трусливей. Аньке скоро семьдесят, но баба огневая, Пашук еще туда-сюда, но пористый, жизнь течет через него, а он ей просто не мешает. Сёме сколько? Тридцать с небольшим? А он совсем не бойкий, не активный, как будто отсосали из него энергию. Желванцов тот побойчее, но у него одни лишь деньги на уме. Вот уйдем – на кого положиться?

Они его так напряженно слушают, гадают, на кого из них поставил старый Шомер: на боевитую Анну Аркадьевну, на уклончивого Павла Савельича, или на робкого Сёму, чтобы вместе с ним пересидеть беду в кустах? А старый Шомер ни на кого и никогда не ставит, он только сам с собой – и за себя. Но все они ему немного пригодятся, он всех использует по назначению. Потому что понимает: никогда нельзя идти одним-единственным путем. Проскакивая между пулями, нужно все время вихляться.

– Коллеги, спасибо, я понял. Я все обдумаю и дам отдельные задания.

– Что значит задания? Какие такие задания? Вы сами послушайте, что говорите. Мы вам что, порученцы? Кстати, Теодор Казимирович, почему вы ставите для чая кружки? Это же американская манера. Где наши чашки? А как завариваем? Это что, по-вашему, заварка?

Цыплакова вытащила из чайника пакетик, позволила ему чернильно стечь.

– Это акварелька с гуашью, а не чай.

Шомер наконец не выдержал.

Напрягся, помрачнел:

– Когда пригласите нас, мадам Цыплакова, к себе домой, то и нальете нам правильный чай. И подадите в правильных чашках.

Вдруг Отец Игумен перестал мурчать, дрогнул осторожными ушами; кошащее воинство насторожилось.

Прошла минута, две; по графинчикам, бокалам, чашкам пробежала дрожь.

Еще один тупой удар, еще; заныли циркульные пилы; порубка и строительство возобновились.

Четвертая глава

1

– Пашка, ты? Ну, наконец! Я заждалась, соскучилась, люблю! Давай не будем больше ссориться! Прости, прости, я полная дура, прости!

Рыжая пулей выскочила из мастерской; в одной руке игла, в другой – заготовка для тулова. Он должен был подумать: слава Богу, мир! А подумал: что ж ты напустила холод!

– Снова окна настезь? Слушай, ты когда-нибудь доиграешься до воспаления!

Тата не желала замечать напряжения. Прижалась, потерлась щекой; волосы растрепаны, должно быть, пахнут свежей краской. Павел чмокнул жену в макушку и вместо ожидаемого умиления, которое всегда приходит, когда они решают примириться, испытал прилив подростковой злости. Безудержной, неуправляемой. Сколько раз просил: ну сделай ты прическу, поухаживай за волосами, красивые же, но нет, мы гордые, нам и так неплохо, обойдемся.

Тут же сам себя перепугался и прикрыл раздражение лаской. Мягко отобрал иглу и заготовку, раздельно положил на полочку (в кукольное тело иглы не втыкают; у кукольников масса заморочек), и предложил:

– Все, стемнело уже, погуляем?

– Ну, пойдем, если хочешь. Хотя я с утра нагулялась.

Тата демонстрировала бабью, деревенскую покорность. Дескать, была виновата, за это даже погулять готова, но только потому, что просишь ты, а сама бы – ни за что и никогда.

Разумеется, он тоже не хотел на слякотный мороз, но как мог, оттягивал минуту, когда они усядутся за кухонный стол, и надо будет разговаривать глаза в глаза. Спешно вынул из шкафа Танину черную кофту, крупной вязки, длинную, разлапистую; поставил сапоги перед диванчиком, подал шубейку. Жена нырнула в рукава и намекаясь застыла; он сообразил, что надо притянуть ее, губами коснуться шеи.

Тата довольно повела плечами; повернулась, снова откинулась, на миг прижалась вертим телом.

Фонари на Галерной светили неохотно, словно бы из милости, мутные огни плескались в черных лужах.

– Давай рассказывай, как все прошло?

– Ты про что? про Ройтмана? отлично. Заказчик остался доволен. Деньги будут выплачены в срок.

– А мякиши свои сфотографировал?

– Ах, я дурак. Ты знаешь, не дотумкал. Но диск с виртуальным музеем привез.

– Да нужен мне твой диск. Я люблю, чтобы все самодельное, ручками... Слушай, попроси кого-нибудь, пусть проберется к Ройтману и снимет? Как тать в ночи. А? Ты же можешь. Так хочется взглянуть, что получилось – в целом.

– У Ройтмана, пожалуй, снимешь...

Сквозь Галерную, как через вытяжку, тянуло темным холодом. Они вывернули к лунному Исакию, от Невского свернули на каналы. Здесь ветер сделался потише; окна светили желтым; на многих домах, во всю этажную длину, висели узкие плакаты: продается.

Говорили обо всем, что на язык ложится: кто звонил, а в усадьбе, знаешь, дело плохо, Шомер всем дает штабные поручения, шифруется и рассуждает про линии защиты, но карта, кажется бита, и, кстати, не надо было тогда отказываться от каско на машину, вот у Климовичей опять авария; между прочим, у меня такое ощущение, что у наших крыша окончательно поехала, так недалеко и до войны; да какая война, не смейся; так что, ты говоришь, тебе поручу

чено? Сквозь идиллическое воркование он вспоминал, как позвонил сегодня *той*, и как включился автоответчик, на котором Старобахин приветствует лающим тоном: «Алё, меня нет, запишите информацию после гудка».

Они вернулись домой через час; вдвоем нарезали салат, настрогали сверху пармезану, Павел открыл бутылку красного, стал наливать – дрогнула рука, он расплескал.

Тата покачала головой.

– Что же ты сегодня так торопишься?

А он и вправду торопился; так плохой дирижер подгоняет оркестр, прикрывая скоростью нехватку чувства.

– Прости. Задергался. Тяжелый день.

– Ну, за тебя. Чтобы следующий был полегче.

Павел внутренне собрался, изобразил домашнюю усталость, выдержал невыносимо нежный Танин взгляд, мужественно перенес ее улыбку и заставил себя посмотреть на жену долгим доверчивым взглядом. Таня даже засмушалась.

– Пашуля, ты чего? так странно смотришь... передай мне, пожалуйста, перец.

Она, конечно, сильно изменилась. Не постарела, нет, но проявились новые черты. Припухлость верхней губки исчезла; нижняя губа, наоборот, чуть выпятилась; снегирины щеки опали, темно-серые глаза стали еще крупнее: что-то в этом есть опасное, базедовое, и привлекательное вместе с тем. Но главное, конечно же, не в этом. А в невероятной, строгой бледности. Рыжие, неприбранные волосы лишь оттеняют эту белизну. Как белилами покрашена. Бедная ты бедная. Врачи бормочут: как получится, не знаем, нервный сбой, соматика, когда-нибудь само пройдет.

Через месяц после тех ужасных родов (прошло уже четыре года – время мчится!) Тата вышла на привычную прогулку. Только что закончился июньский быстрый ливень, все вокруг сияло мокрым светом. Через полчаса вернулась, и Павел ее не узнал; перед ним стояла тетенька, состаренная лет на двадцать, с одутловатой мордочкой, заплывшими глазами и скошенной губой, как после укуса осы или шершня. Маленькие руки превратились в красные раздутые мешочки с отростками на месте пальцев; она с трудом дышала: обложило горло.

Оказалось, пережитый ужас вызвал аллергию. Но не привычную сенную лихорадку на цветение, не астму на клещей домашней пыли, не крапивницу на помидоры; началась редчайшая болезнь: полная несовместимость с солнцем. Стоит прямому лучу попасть на открытую кожу или скользнуть по сетчатке, организм выбрасывает снопы гистаминов, и по телу начинает разбегаться опухоль: вздуваются то уши, то руки, то коленные чашечки, то зоб, то грудь.

Врачи увлеклись интереснейшим случаем, не хотели выписывать Тату; к ней в затемненную палату водили аспирантов, с восторгом заставляли раздеваться и на минуту открывали шторы. Вот, вот, коллеги, видите? пошел процесс. Саларьеву пришлось скандалить; Тату отпустили под расписку, с нескрываемой надеждой, что она когда-нибудь вернется в их больницу.

Не вернулась. Но с тех пор живет усеченно. В пять – подъем, прогулка, если надо, круглосуточные магазины; после наступления вечерних сумерек – как правило, опять прогулка. А в дневное время – заточение. Завеси приспущены, всюду горит электричество. Это не трагедия, не катастрофа. Можно вечером поехать в гости или сходить в кино; на выставки ее пускают ночью. В каком-то смысле это даже лучше. Павел обожает бродить по безлюдным выставочным залам, когда вокруг мигает видео, покачиваются зыбкие конструкции, и такое чувство, что ты внутри проекта, часть чужого замысла, и невидимые зрители наблюдают за тобой.

Единственное, с чем справиться не удалось, так это с белыми ночами. Ядовитый привкус солнца сохраняется почти до самого рассвета, оставляя жалких полчаса на передышку, и квартира превращается в тюрьму. Поэтому в двадцатых числах мая они пакуют вещи, и вывозят Таню до конца июля – за границу. Как правило, в Испанию.

В Барселоне нет невыносимой, иссушающей жары; там дует ветерок, легко дышать. Ночью Тата не ложится. Часов до трех оттягивается в буйном городе, ест тапасы и пьет риюху, наблюдает за стариком-официантом, который важно разглаживает скатерть восковыми дрожащими ручками; протискивается через узкие, как будто бы прорезанные бритвой, улочки, где галопом носятся собаки, и когти цокают об асфальт, как если бы лошадь скакала на цыпочках... Потом на Рамбле вместе с одуревшими футбольными фанатами кричит: Оле-оле-оле! Барса! Оле-оле-оле! И поддевает пьяных англичан. С трех ночи до шести утра гуляет в полном одиночестве. То на покато́й Еврейской горе, то в прибрежном парке, где лебеди смотрят на нее своими напряженными глазами.

Возвращается, задергивает шторы и ложится спать. Встает после обеда, пишет письма, чертит выкройки, читает.

Так что в целом они приспособились. Но от современных кукол Тата отказалась: электричество смещает краски. Теперь она делает лишь стилизации под старину. Напудренные дамы в париках, с большими мушками, кавалеры при смешных косичках, все немецкое, добротное, ненастоящее. И Тата тоже стала бледная, как дамы на портретах восемнадцатого века.

...Все темы на сегодня были проговорены. Они скучно жевали салат, запивая простым, неглубоким вином, и молчали – то ли каждый о своем, то ли о чем-то совместном.

– Ну что, чайку?

– Слушай, что-то сегодня не тянет. После вина – не пойдет.

– Тебя – не тянет – чаю? Ушам своим не верю. Паша, ты не болен? Ладно, как скажешь.

Отложим чай до завтра.

Видно было: Тата подавила вспыхнувшее мелочное раздражение. Растворила его в себе до конца, размешала, так, чтоб ни осталось и следа. Вымыла посуду, подошла, прижалась теплым животом. Плотно, доверчиво, с легким подтекстом.

О, Господи, только не сейчас, не это.

– Тат, все-таки, ты знаешь, я разбит. – Пришлось добавить толику смущения.

Ага, ты опять разозлилась. Наши бледные щеки пошли ярко-красными пятнами. Ну, сдержишься или прорвется? – Нет, сдержалась.

– Ну конечно, самолет, дорога, долгий день. Тогда по койкам? Что, спокойной ночи?

– Спокойной ночи, Тат. Давай, ложись, я отправлю отчет и приду.

В кабинете все устроено с удобством. Книги – только те, что сегодня в работе. На длинном столе у окна – мощная монтажная система, есть авидовская версия, есть эппловская, есть тридешная программа для объемной анимации. На стене экран, большой, растянутый, киношный, по бокам два приставных экранчика, похожие на электронное трюмо. На подиуме возле мягкого дивана – почти игрушечная телестудия, два метра на два и полметра в высоту. Над выгородкой сеть вращающихся прожекторов. Внизу, на рельсе, крохотные камеры, и еще одна, телескопическая, висит на закрученном тросике.

Обдумывая новую идею, Павел гасит люстру и зажигает маленькие прожектора: сердцевина комнаты мертвенно исходит синим светом, как в больнице. Он запускает камеры, как запускают самолетики или кораблики с дистанционным управлением. Подает с компьютера проекцию – вспыхивают образы музейных залов, экспонатов, посетителей; он чертит электронным грифелем, приводит всех в движение, отслеживая на экране, как будет разворачиваться кадр. Наезд, отъезд, круговой разворот. Конечно же, это излишество; можно обойтись и обычным 3D, но работа, доставляющая удовольствие, начинает словно думать за тебя, она живет своей отдельной жизнью, и с этим чувством мало что сравнится. Только беззаконная влюбленность.

Господи, но что же ему делать? Как избавиться от наваждения, пережить его и не надеть глупостей? Оно же кончится когда-нибудь? Такое не бывает слишком долго? А в подкорке

свербело: у тебя же есть ее мобильный, брось эсэмэску с питерского номера, она не догадается, кто написал.

Он сидел, как сыч, в полнейшей темноте, набирая и стирая в телефоне: *я хочу вас услышать, хочу вас услышать, услышать*. И, уже почти что засыпая, нажал-таки на кнопку: отправить.

На экране крутанулась яркая спиралька, через секунду появилась надпись: сообщение доставлено.

Он немедленно проснулся и смертельно испугался сам себя. Отключил телефон. Вынул питерскую симку и заменил ее московской.

2

Епископ Петр Вершигора немолод. Семьдесят четыре года; диабет и все такое. Но крепко, кряжист. Как все в его родных Камях. Там природа! зимой сияет снег, летом солнце раскаляет виноградины, они почти дымятся, жарко обволакивают рот. По ночам собаки начинают переключку. Гуав – мелко вякает щенок, гооу, гооу – утробно отвечает ему волкодав, подобоострастно начинают тяфкать суки, но снова раздается гооу: молчите, лаять буду я! Потом приходит время дробных коз; петушки звенят, как пионерские фанфары; блеют овцы, мыкают коровы: просто рай, где волцы срастаются с овцами.

А кормят в Великих Камях? блаженство. По утрам на летней кухне дыбятся яичница, свежесоленное сало просится на разогретый хлеб, на столе лежат круги домашней колбасы, свиной, перченой, кусаешь – брызжет алым. В большой России не умеют есть. В большой России мало что умеют. Ни работать наотмашь, ни в Бога верить, просто и упрямо. Чем серьезней становится возраст, тем чаще вспоминается, как бабушка их поднимает на рассвете: Катерину, Ивана, Григория, Улю, его. Они идут к иконостасу, украшенному белым рушником, опускаются все вместе на колени, и поют Богородице, Дево, и Отче наш, и Взбранной воеводе, и немножко из акафиста Сладчайшему. Из окна сквозь паутину вытягивается первый луч, застрявшие мухи из последних сил пытаются освободиться. Бабушка кладет земной поклон, и косточки ее хрустят.

Продолжая стоять на коленях, бабушка поворачивается к ним лицом, темным, добрым, как на той иконе, и все они целуются друг с другом, крест-накрест, троекратно, и громко говорят: Христос моя сила! Потом бегут – кто первый – к умывальнику, а бабушка еще стоит в углу, бормочет. Он однажды замешкался – и уловил обрывки. Ничего не понял, но запомнил цепкой детской памятью. Лет через тридцать вдруг очнулся на рассвете, в липком ужасе: бабулины слова ему приснились. Хуже, чем текел, мене, фарес. Бабушка шептала имя папы Пия. Она была, оказывается, тайной униаткой. Но Бог ей тут судья. Мы никому не скажем.

После армии его манили в Ужгород: он был способный паренек, мог пойти в учительский, а там и комсомол, и партия. Но все же выбрал семинарию. Закарпатских в попы принимали охотно – рослые священники везде нужны, старательные и без ложной мудрости.

Он выдержал экзамены весьма успешно; однако накануне зачисления начальник приемной комиссии протянул ему записку – отведя глаза, стыдливо, как суют незаработанные чаевые. В записке был какой-то номер телефона и одно-единственное слово: *срочно*. Пришлось выменять у прохожего двушку, войти в пропахшую масляной краской телефонную будку. Стальной кружок крутился медленно, с приятным скрипом; было почему-то очень страшно.

– Вас слушают. Вас внимательно слушают. – Голос был глухой, а тон суконный.

– Ало. Я абитуриент Вершигора. Мне сказали связаться.

– Хорошо, Вершигора, что позвонили. Нам бы нужно повстречаться. Когда? Да вот сейчас и встретимся. Подходите к ресторану Прага, знаете? Вы сейчас в Загорске? В электричках перерыв... таак... в пятнадцать тридцать, станция метро Арбатская, налево. Как узнаете?

У меня в руках будет газета «Советский спорт», а на голове шляпа. Так, вы задаете лишние вопросы – это моя работа, задавать вопросы. Подъезжайте.

Неразличимый человек с «Советским спортом» предъявил удостоверение, там значилось: Болонкин Сергей Валентинович, капитан КГБ.

– Да, такая у меня фамилия, а что?

Они зашли в стоячий кафетерий, взяли по кофе и куску торта «Прага», капитан уставился в огромное окно и, глядя мимо собеседника, стал ровно и долго журчать. Про хорошую анкету, правильное сочинение и врагов советской власти...

Вершигора все ждал, когда его начнут журить: вы же наш человек, сознательный, зачем вам это мракобесие, однако капитан Болонкин говорил про патриотов, граждан общей родины... шелестел, шелестел и подвел к основному:

– Значит, вы готовы помогать? Мы сговорились?

Вершигора лукавить не стал, дескать, о чем это вы; он ответил просто и честно:

– Я готов.

Болонкин просиял.

– Вы нас, в общем, тксть, не ищите, мы сами вас найдем. И еще есть просьбочка. Правильно ориентируйтесь в своей конторе. Есть разные студенты, держитесь тех, кто понимает.

И назвал пяток-другой фамилий.

Надо же такому приключиться: ровно год тому назад епископа Петра пригласили потрапезничать к соседям, в Псковскую епархию, на юбилей. И там, на торжественном ужине владыка встретил сразу двух из этих... понимающих. Один далеко не пошел, стал обычным служивым священником, которых так легко узнать в толпе по долгополому пальто из темно-синего сукна и покорному уклончивому взгляду. Другой раздобрел, превратился в роскошного старца с улыбочивым спелым лицом и легкой католической бородкой; во время долгого, солидного приема вальяжно разглагольствовал, дескать, этот ваш Путин был настоящий тиран, ничего хорошего не сделал, да и нынешний ничем не лучше.

В общем, оказался либералишкой.

Епископ слушал, ничего не возражал; дождался благодарственной молитвы, выбрался из-за стола, взял под ручку рассудительного иерея, и добродушно спросил у него:

– А что же, отче, ты теперь за демократию?

Однокашник снисходительно осклабился.

– Есть такое дело, владыко.

– Ага. Ну что же, добре, добре.

Прошлись под ручку взад-вперед, перекинулись двумя-тремя словечками и распрощались. После чего владыка пальцем поманил второго понимающего, пошептал ему на ушко, тот послушно покивал; епископ поудобнее уселся в кресле и стал издалека наблюдать за происходящим. Как в долгородском театре, в царской ложе с губернатором.

Служивый батя почеломкался со старым знакомцем, спросил про семью, про внуков, и вдруг, без перехода, резко, как дают под дых, спросил:

– А вот скажи ты мне, отец Виталий, не знал ли ты такого капитана, фамилия его Болонкин? Сергей... Сергей Константинович.

Лицо маститого отца протоиерея вытянулось.

– Что за дурацкая фамилия?

– Оно конечно же. Фамилия дурацкая. А я вот Болонкина знал, не скрываю. Чего стесняться? Ничего же плохого не делали, только разговоры говорили. Неужели и вправду не знал?

И тут случилось нечто невозможное; после владыка вспоминал эту сцену со смесью удовольствия и отвращения. Отец Виталий весь затрясся, как одержимый при отчитывании беса, ноги заходили ходуном, ни дать ни взять заводная игрушка, у которой сорвало пружину механизма, и как пойдет чесать отборным матом!

– Ах ты... продажная... меня... да как ты смел... да я... да где у тебя доказательства... и трататататататата!

Хорошо, что прием уже закончился, духовенство большей частью разошлось. Но девчущечка-официантка прижалась к стенке, стоит ни жива ни мертва.

И то подумать: два почтенных иерея в тонких рясах, благообразные, и вот один из них вихляется болванчиком, и изрыгает трехэтажное ругательство. Ничего не скажешь, зацепило. А ведь чего, казалось бы, такого? Ну собеседовал. Ну докладывал. Не нарушал же церковной присяги, вреда не причинял, соблюдал не нами установленные правила, поступал по-монастырски, за смирение.

Насчет монашества Вершигора решил еще до поступления. Выждал год, понравился владыке ректору, стал у него алтарником. И накануне Троицы, заранее сдав сессию на все пятёрки, подошел благословиться. Митрополит взглянул прищурясь, насмешливо мигнул: в ангельский образ? Дело хорошее, знаешь стишок?

Жизнь ударит обухом,
Ты поймёшь потом:
Лучше жить под клобуком,
Чем под каблуком!

Не слышал, нет? тогда готовься, в воскресенье едем в гости.

– Куда именно, ваше высокопреосвященство?

– На кудыкину гору, мой друг.

Оказалось, ехать надо в Мячиково. В сельском храме все сияло, пахло рубленой березкой, сохнувшей травой, рассветом. Медные паникадила были начищены, как трубы в военном оркестре. Подмосковные бабули строго шикали на захожан, стояли образцово твердо, по стойке смирно. Платки завязаны двойным узлом, в торчащих кончиках есть что-то острое, кинжальное.

Они вдохновенно отслужили литургию, возгласили «с миром изыдем», дали бабкам крест на целование, пропели напоследок «не спится на полати деспотам».

И пошли трапезовать.

Тут и раскрылся тайный умысел владыки. За столом сидели: худющий отец настоятель, дородная матушка и четверо поповских дочек, одна другой приятней. Две русые, а две пшеничные, голубоглазые, румяные, корпус тугой. Испытуемый пошучивал с девчонками, уплетая грибную икру, соленья, моченья, пирожки с капустой. (Прежде чем откусывать, владыка Киприан спросил: а это у вас что? пироги или пирожки? Хозяйка, зардевшись, отвечала: пирожки. Правильно, – одобрил он, – знаешь прикуп; пироги мои враги, пирожки мои дружки, давай сюда, Господи, благослови.)

Все было хорошо, и радостно, и по-простому. И лишь к концу застолья у семинариста промелькнула мысль: о, брат, а ты попался. Не надо было с дочками заигрывать, а надо было опустить глаза, и сидеть с надутым видом.

Но, видимо, владыка понял, что молодой алтарник радуется девичьим красотам без прицелов, не проявляя тяги к женскому сословию. Что было полной правдой, но какую же надо иметь прозорливость! Благословение митрополит отсрочил, но до конца не отказал, и позвал Вершигору к себе в секретари. Патриарх тогда болел, надо было помогать Святейшему, так что их владыка сочетал и ректорство, и управление делами, и опекал свою епархию в Воронеже. Временно, до перемены ситуации. Но время что-то длилось, длилось, а ситуация не улучшалась.

В семь тридцать Вершигора подъезжал в приемную митрополита, распределял просителей, резко ставил на место зарвавшихся матушек, которым надо было непременно лично встре-

титься с владыкой: слышь, мать, бумагу напиши, грамоте, небось, обучена? Их могла остановить только его карпатская грубость; вежливых разговоров они понимать не хотели. Потом готовил документы, мотался по Москве со всяческими поручениями, в десять вечера подавал владыке черное уютное пальто (потом себе пошил такое), усаживал в машину.

В пятницу ночным они уезжали в Воронеж; до двух, до трех часов утра владыка ставил визы, разбирал бумаги – нужно было подавать их в развернутом виде и сразу подшивать по темам. По приезде – литургия полным чином, епархиальные дела, финансы, местное начальство, въедливый уполномоченный с округлой лысинкой, точь-в-точь тонзура, Бог шельму метит.

И в воскресенье вечером обратно.

Как он успевал еще учиться? Сам не понимает. Но вопреки всеобщим ожиданиям, Вершигора образцово сдал выпускной. Спал по два часа; когда кровь шла носом – затыкал холодной мокрой ваткой ноздри, и учил, учил, учил. Наизусть. Без пощады. Что такое дисциплина, он знал. И в конце концов он заслужил награду. В шестьдесят четвертом, пятнадцатого октября, владыка возвел его в ангельский образ. День был знаменательный; накануне, во время вечерней в Успенском соборе по лаврским рядам побежал шепоток: сняли! сняли! сняли! И хор с особым чувством грянул: аминь! Хрущева больше не было у власти; злодей, который собирался уничтожить церковь, был повержен!

С тех пор у инок Петра Вершигоры было четкое и ясное сознание: все эти критиканы, которым все не так, начальство не начальство, по дурости не понимают, что значит сила власти. Теперь в среде епископата встречаются молодые-своевольные; скачут быстро, и, как блохи, только вверх. А настоящим, крепким, верным нет большой дороги. Вроде и при деле, а все как будто в запасных.

Вот его предшественник, из русофобов. Распустил долгородских попов, практически разрушил епархиальное хозяйство. Его бы наказать, так нет, поставили в митрополиты и дали назначение в Прибалтику. Ладно, пусть он с тамошней литвой братается. А здесь пришлось потратить слишком много сил, чтобы разоренная епархия пришла в порядок.

А порядок должен быть. И страх, и вера.

3

– Владыко, примете? К вам этот, ну, еще звонили, из музейных.

Подсевакин все-таки смешной. Похож на оловянного солдатику, стоит по стойке смирно. Служит он совсем недавно, с Фоминой. Прежний секретарь, горбун Григорий, был прирожденный управляющий и грандиозный чтец. Выйдет на средину храма в детском, подвернутом стихарике, на спине как будто рюкзачок приделан; опустит голову на вмятую грудь, откроет рот – и Шестопсалмие уносится под купол, гремят громовые раскаты, Илия на колеснице, слезы в горло – и это у него, у старика. А последование ко святому причащению? Слова летят в алтарь, как огненные всплески: хотяй ясти тело владычне... ай, хорошо. Но слишком гордый. А гордым противится Бог. Поставил хозяйство, получил кремлевские соборы в управление, вылушил паломников из общего потока, – все, молодец, стой в сторонке. А Григорий стал давать советы, похожие скорей на указания. Архирею!

Поэтому пока пусть будет Ярослав. А с горбуном потом решим. Все может статься.

– Ладно, запускай. Посмотрим, что за фрукт.

Фрукт, прямо говоря, плюгавенький. И какой-то, как сказать? Нечеткий. Как плохая фотография. Бывают люди – сразу видно, кто такой. Мужик. Или, напротив, мямля. А этот... ни то, ни другое, глазки спрятал за очками, улыбается, а сам как будто бы в расфокусе. К ногтю его, и вся недолга.

– Слушаю вас. Уважаемый... э... Павел Савельевич. Редкое отчество. Не из столиц?

– Не из столиц. С Азова.

– Это хорошо. Это, говорю, похвально. Что привело вас, уважаемый Павел Савельевич? Да вы присаживайтесь, вот кресло. Большое, не в размер, но в старину других не делали, простите.

– Да-да, владыко, понимаю: богатыри – не вы. – Павел жестко улыбнулся.

Его предупредили, что Вершигора сентиментальничать не станет, прежде чем начать серьезный разговор, попробует взять на излом. Епископ смотрел с упорной лаской, чуть наклонив большую голову с курчавыми, тугими волосами и поглаживая раздвоенную бороду: ну? что? я жду?

Епископ принимал не в городе, а в пригородном монастыре; насколько было все убого на подъезде, барачные постройки мышиного цвета, отсыревшие пятна на стенах, настолько все в обители сияло. Даже слишком. Как будто бы построили не в девятнадцатом столетии, а вчера: ровные дорожки, чернотелые ели, открыточные сине-золотые купола на толстом низком основании. Со старым храмом гордо контрастирует шатровый стилизованный собор эпохи Александра Третьего; братский корпус набело оштукатурен, с узнаваемой примесью хохлатской синьки; из трубы выдвигается в небо ровный дымок. Такие же дымки, но подлиннее и потолще, тянутся из труб еще одной постройки, новой. Подъезжает быстренький грузовичок, ворота отворяются, и послушники, сияя колпаками и путаясь в подрясниках, спешат с лотками, на которых дышит свежий хлеб.

В епископских покоях тишина. Жиреют могучие фикусы, толстые листья фиалок на окнах покрыты женским пушком. Сотрудники скользят тенями в жарком коридоре: натоплено крепко, на совесть. В кабинете ровно тикают настенные часы, бесшумно ходит медный маятник, гоняя по зеленым стенам солнечных зайчиков, блеклых, зимних. Перед иконами в киотах мелко светят разноцветные лампадки, а по углам на стульях разлеглись ленивые коты, размером с добрую собаку, смотрят нагло, деревенски.

У Шомера коты поласковой, посимпатичней.

– Про богатырей – остроумно, – неожиданно сказал епископ, не дождавшись продолжения. – И самокритично. Но все-таки, хотелось бы, Павел Савельевич, знать, чем, так сказать, могу?

– Видите ли, Ваше высокопреосвященство...

– Я покамест просто преосвященство, без высоко.

– Ваше преосвященство, вы ведь знаете, откуда я, и с чем приехал. У музея нижайшая просьба: давайте оставим все как есть.

– А как все есть?

Голос у Вершигоры утробный, низкий, с опасной хрипотцой; говорит он тихо, чтобы собеседник напрягался; левый глаз прищурен. Владыка явно ценит собственную хитрецу. Ладно, главное – не разозлиться, не сорваться.

– А так все есть, что здание построено владельцами усадьбы и никогда церковным не было...

– А каким же было? Нецерковным? Капищем? Масонской ложей?

Издевается, гад, прости мя, Господи. Терпение.

– Оно было церковным в том смысле...

– Ну, вот видите. Церковным. Правильно. Таким и остается.

– ...в том смысле, что там были службы, а юридически он числился домовым храмом, и на балансе церкви не был никогда.

– Интересно мыслите. Баланс. Интересно. Продолжайте, я весь внимание.

– Да что тут продолжать, владыко? Мы не только не мешаем, мы помогаем совершать богослужения...

– О, не знал. А что же вы, читаете, поете?

– Владыко. Очень просим: пусть все остается на своих местах.

Епископ откинулся в кресле (кресло у него вольтеровское, не по сану, ехидно отметил Павел про себя). Посмотрел поверх Саларьева. Внушительно и твердо помолчал, как будто бы чего-то дожидаясь.

Раздался деликатный перезвон часов; внезапно вспомнилось, как по офисным просторам разносился тонкий серебристый звук перед приходом Ройтмана.

– А и так все на своих местах. Павел Савельевич, а? Фундамент, стены, купол, крест. Вот я хочу спросить. Вы читали «Венецианского купца»? Уильяма Шекспира, – зачем-то уточнил епископ.

– Читал, владыко.

– А помните, о чем там говорится?

Павел ответил с такой демонстративной вежливостью, что прозвучало слишком дерзко.

– Я помню, ваше преосвященство. Помню. Но хотелось бы от Вас услышать.

– А там говорится о том, как жид-торговец, Шейлок, пожалел кусочек мяса для христианина. Вот о чем там говорится.

Возникло ощущение, что кто-то скручивает жгутиками кровеносные сосуды в голове, и тихо дергает, чтобы под кожей пробежала судорога. Держаться до последнего, держаться.

– Владыко, Вы простите, но я должен прямо Вас спросить. Это Вы меня называете жадным жидом?

– Нет, я лишь рассказываю вам сюжет Шекспира. – Вершигора осклабился.

Павел наконец-то справился с собой. Давление понизилось; он вновь почувствовал покой, разлитый в воздухе. Противный дед. Но вокруг него – уютно, хорошо. И пора переводить их интересный разговор в другую плоскость.

– Кстати о жидах. Наш директор, Теодор Казимирович Шомер, попросил передать Вам личное письмо.

Вершигора криво ухмыльнулся; хотел было пошутить: «от евреев послания чтение», но промолчал; хватит Шейлока. А парень вообще-то оказался ничего, кусочий.

– Оставьте, на досуге почитаю.

– Владыка, сделайте мне одолжение, прочитайте письмо сейчас. Оно совсем короткое. И, быть может, что-то поменяет. В рассказанном вами сюжете.

– Сюжет уже имеется. Это, мой друг, Шекспир. Там ничего не поменяешь. А о чем письмо?

– Простите, я не знаю. Конверт запечатан.

– А почему не начали с него?

– Аз есмь послушник своего директора, что он поручил, то делаю, в рекомендованном порядке. – Получи, фашист, гранату.

– Ну, давайте, ладно, ознакомлюсь.

Вершигора нажал селектор:

– Подсевакин, принеси очки.

Явился секретарь с небольшим серебряным подносом; ну, ничего себе очки! Советская оправа, роговая, правое стекло надтреснуто, дужки подвязаны ниткой. И, кстати, секретарь похож на Смердякова. В старозаветных окулярах епископ стал напоминать пенсионера.

– На очки не смотрите. Они не то, чтобы. А просто – любимые очки, ношу уже лет тридцать. Состаритесь – еще меня поймете.

Епископ не спеша вспорол конверт костяным ножом; минуты три читал, по-детски шевеля губами. Отложил бумагу, помолчал, подумал.

– Вот что. Павел... э-э-э... Савельевич. Вы передайте Теодору Казимировичу... э-э-э... Шомеру, что нам не худо повстречаться. Хотя я ничего не обещаю. Пусть его секретарша позвонит моему Подсевакину.

Взвесил все еще раз, и добавил напоследок:

– И еще передайте. У меня ведь тоже будет просьба. Какая – потом доложу. Сделаете – может, что и выйдет. Такое вам партийное задание. Павел Савельич.

Эй, Подсевакин, проводи.

4

Что же Шомер написал епископу? Надо было набраться наглости, открыть конверт над паром, да прочесть. Потому что дедушка сам виноват – решил играть во всемирный заговор, ничего не объясняет, с каждым говорит наедине, таинственным притворным тоном. Ну, я прошу Вас, Павел, сделайте мне одолжение, простите старика, позвольте умолчать причину. А что другие? на то они другие, чтобы у них имелось другое задание. Павел, дорогой мой, умоляю. Умолил.

Точно так же умолил он Желванцова. Тот покапризничал немного, для порядка, но в конце концов охотно сдался, принял важный вид, попросил у педанта Печонова губку; уперевшись ногой в основание колонны, до смоляного блеска натер ботинки. Тут же подошла ласкаться кошка, с матрешечным раздутым пузом. Состав оказался липучим; на блестящие мыски намагнитились пучки кошачьей шерсти. Неунывающий завхоз расхохотался, вытер ботинки обрывком газеты, снова их наваксил. И умчался на хозяйской «Волге». То ли в Питер, то ли в Долгору, не уточнил.

Вслед за Желванцовым из директорского кабинета выпрыгнула Цыплакова. Не умея скрыть улыбку торжествующей победы, птичьей ковыляющей походкой направилась к бухгалтеру, Алине Алексеевне, оформлять командировку.

– Анна Аркадьевна, куда же это Вы? – только и успел спросить ее Павел.

Цыплакова, которая обычно притворялась, что прекрасно слышит, гордо показала пальцем на рогульку слухового аппарата, выпирающую из уха, как темный старческий нарост. Вскоре за окном послышалось голодное урчание ее разбитой таратайки, жука-ситроена восьмидесяти пятого года производства.

Через полчаса дверь в директорскую роскошно распахнулась и по лестнице, играя тросточкой спустился их дедушка Шомер.

Он уже переоделся; плечи распирали старомодную тройку, английской темно-синей шерсти, в необычайно тонкую полоску; из петельки бордового жилета через живот тянулась толстая серебряная цепь. Через левую руку Шомер перебросил черное пальто, тонкое, не по погоде; в правой – толстая трость с огромным набалдашником в виде веселого черепа. От наряда разило безвкусовой Москвой; дед явно уезжал в столицу.

Как бы вживаясь в московскую роль, Шомер с выправкой аристократа запер кабинет большим ключом; цокая подбитыми ботинками, прошел по коридору, и лишь сделав первый шаг по лестнице, величественно развернулся:

– Я надеюсь быть через неделю. Много – через две. Всех благ!

Пятая глава

1

Усадьба сохранилась чудом.

В мае девятьсот четырнадцатого года Мещеринов-последний переправил мебель, машинерию, библиотеку в малое имение под Выборгом, надеясь привести Приютино в порядок и приспособить к современной жизни. Утвердил ландшафтный план (рощу полагалось проредить, а пруды соединить каскадом), обсудил с архитектором перестройку господского дома. Но в сентябре он ушел на войну, потом угодил в революцию – и в родовое гнездо не вернулся. Крестьяне из соседних деревень загадили господский дом и церковь, устроили в театре лесопильню, потом ее забросили, неприбранная стружка отсырела, превратилась в серую липкую жижу. Что, быть может, и спасло деревянный театр от пожара.

До середины 20-х годов усадьба спокойно ветшала. На колокольне выросли березки, паркет разбух, узорные обои закрутились, на антресолях шуршали летучие мыши.

Летом тысяча девятьсот двадцать шестого года было принято решение: открыть на базе бывш. дворянского владения санаторий. Специфического направления. Ближайший колхоз в тридцати километрах, сифилис не расползется. Отсыревший паркет вколотили гвоздями, пол и стены обшили доской, через одно закрыли буржуйские окна, в целях экономии тепла. Истопником в котельную устроился юродивый, его все называли дядя Коля.

Дядя Коля бормотал под нос какие-то рифмованные глупости, но, в общем, был обычным старичком, коротко остриженным, с инженерной бородкой. Он увлекался фотографией; раз в месяц отпрашивался на день, на два – в Долгород. Как он говорил, «к моим евреям»: местные старьевщики сбывали ему сломанные аппараты, которые он терпеливо восстанавливал; если не хватало денег – обменивал в Долгороде на стеклянные пластины, а как только появилась свемовская фотопленка, то на нее.

Дядя Коля делал фотографии для стенгазеты и отчетов. За что директор санатория выделил ему кабинку в душевой, под фотомастерскую. Дядя Коля запирался на щеколду, затыкал уши ватой, чтобы не слышать бабьих взвизгов: ой, горячо, ой, хорошо, и с помощью устройства, напоминающего папскую тиару, проецировал изображение на глянцевую фотобумагу. Устройство раскалялось и светилось красным, как карбункул, из ванночек с раствором пахло кисло, на бельевых шнурах сушились отпечатанные фотографии.

На излете сентября тридцать шестого года Крещинер сидел в своем кабинетике – том самом, антресольном, куда потом вселился Шомер. Крещинер растопырил пальцы и подставил перепончатые складки Мурке, чтобы та щекотно их вылизывала. Он тоже был большой любитель кошек, а кошки почему-то сходу обживали это место.

Издалека слышался шум. Шум нарастал; со стороны больничного заборчика на территорию заехал грузовик, за ним – типичный черный «воронок». Рядовые с автоматами построились у входа, старший офицер и двое младших подтянулись, поправили ремни, и строго направились внутрь. Цвет лычек и околышков был синий.

Крещинер мягко переложил Рыжую на канапе, откинул крышку на пристеночном столе, и когда офицеры стали шумно подниматься по лестнице, в кабинетике раздался брезгливый хлопок и мягкий стук, как будто уронили куль с мукой.

Между тем, приехали не за Крещинером. Просто в середине лета из Москвы с фельдегерем доставили секретный документ, правительственной почтой: на территории усадьбы решено создать патриотический музей союзного значения (так что мужичок на синем «Бентли», который угрожал «Музеем Революции», был близок к истине). Именно в Овальном

кабинете царь подписал указ об освобождении крестьянства, а в революцию 1905 года молодой хозяин родовой усадьбы из романтических соображений прятал в подвале тираж газеты «Правда». *Увековечить*. Кроме того, из 300 гектаров приусадебных земель 250 передавались в пользование НКВД, под санаторно-курортные нужды. Венерологов, со всем сомнительным хозяйством, предстояло до зимы переселить на Псковщину. Чекисты прибыли осматривать владения – и привезли солдатиков с палатками, чтобы начать порубку леса под застройку. О чем Крепцинера не известили.

То ли это странное самоубийство, то ли приближение войны, но что-то помешало выполнить Постановление. Профилакторий вывезли, земли по всему периметру обнесли глухим забором, но про музей как бы забыли – и вспомнили уже в хрущевскую эпоху. Сняли проволоку, во флигельке устроили временную экспозицию: «Революцией мобилизованный и призванный. П. Б. Мещеринов и редакция ленинской «Правды». А на закрытой территории построили Дом Выходного Дня для сотрудников административно-хозяйственного управления КГБ.

Сотрудники АХУ музею помогали, подключили к собственным коммуникациям, приходили на субботники. Мальчики, остриженные под полубокс, подметали метлами дорожки; добропорядочные девочки протирали тряпочками стекла. Женщины рыхлили клумбы, мужчины занимались столяркой; разогревшись от работы, оставались в белых нижних майках и рубашках. А потом все вместе дружно пили чай и говорили про историю.

Что же до Мещеринова-Последнего, то после гражданской войны он сумел перебраться в Финляндию и поселился в малом выборгском имении. Опростился, завел пивоварню, поставлял отборный табак в Упсалу и Турку. Однако семейную страсть к собирательству книг и театру сохранил. Когда великий архитектор Аалто появился в Выборге, граф заказал ему проект усадебной библиотеки, с театральным секретом. Смещался боковой рычаг под нижней полкой, шкафы приходили в движение, разворачивались задниками, пол начинал вращаться, с потолка сползала бархатная завесь, и библиотека превращалась в сцену. Бродячие актеры, шведские, финские, русские, регулярно давали спектакли; выборгские пивовары и торговцы табаком смотрели Верхарна и Гамсуна, их многомерные жены обмахивались веерами; сюжеты были непонятными и мрачными, но все оставались довольны. После спектакля актеры напились и буянили в сосновом парке; крики и взвизги прорывались сквозь всплески ледяного моря.

Шомера назначили директором в январе семьдесят пятого: к юбилею первой русской революции временную экспозицию оформили как постоянное собрание, расконсервировали главный дом. Он провел ревизию и ужаснулся: ничего не сохранилось! Вообще – ничего. Все нужно сочинять с нуля. Взял командировку в Выборг: вдруг найдется дедовская машинерия? Но после возвращения советской власти дом покойного Мещеринова отдали комендатуре, библиотечный флигель разбили на барачные клетушки и заселили семьями военных; деревянные шкафы пошли на растопку, металлические шестеренки приспособили к разным хозяйственным нуждам.

Тогда упрямый Шомер заказал по чертежам аутентичные копии и начал восстанавливать театр.

2

Павлу предстоял приятный путь домой, по легкому снежку, с ухающими спадками, резкими взлетами. Только нужно было заскочить к одной старухе. Она давно хотела передать в музей коробки с негативами, которые остались от юродивого, дяди Коли. В последние два месяца старуха им названивала постоянно; в трубке раздавался ломкий, свежий голосок, как будто говорил состарившийся ребенок.

– Здравствуйте, я Анна Леонидовна, батюшка благословил передать вам его фотографические снимки, когда бы вы могли заехать?

– Благословил – когда? На снимках – что? история усадьбы?

Старушка мялась.

– Давно благословил. Там в основном другое. Вы сами все увидите.

Ей увертливо пытались объяснить, что лучше обратиться в областной архив, хотите адрес? телефончик? в музее разбирать коробку некому, негативы пропадут, раскиснут, жалко. Старушка слушала, не перебивала, но как только собеседник пробовал проститься, непреклонно говорила: батюшка благословил успеть до смерти, мне уже восемьдесят семь, и я вам завтра позвоню, а вы, пожалуйста, запомните мой телефон.

В конце концов она пробила настоятеля, отца Бориса. Тот сдался, начал уговаривать директора. Напирал на совесть, на музейный долг, чувствительно рассказывал историю вертепа. Мещеринов-последний заказал его на Рождество тринадцатого года: как человек бездетный, он любил порадовать крестьянских деток. Уходя на фронт, завернул вертеп в восковую бумагу, чтобы тот не сгнил; Крещинер обнаружил игрушку в подвале и страшно обрадовался: это же кошачий домик! Он постелил рогожку, на тросиках повесил жамканые бумажки, чтобы кошки, развалясь на спинах, били лапами. Но блаженство продлилось недолго, коты вертеп пометили; попытки оттереть его вонючим коричневым мылом ни к чему хорошему не привели, на старый запах наложился новый, щелочной.

Пришлось отправить вертеп на помойку.

Юродивый узнал об этом, вытащил, проветрил на морозе, что-то в том вертепе усовершенствовал и потом – внимание! – таскал с собою всю оставшуюся жизнь. Перед смертью отдал ученице, Анне Леонидовне. И она – представьте! – сорок лет его хранит, мотается с квартиры на квартиру. Одинокая, неприспособленная женщина.

Шомер слушал и отнекивался, снова слушал. И в конце концов не выдержал. Согласился взять коробку. Но поставил батюшке условия. Во-первых, если вы такие добрые, пусть фотографии хранит и разбирает ваша помощница Тамара Тимофеевна. Та, которая вся в черном, из компьютерного, и еще на полставки экскурсоводом. После рабочего дня. И никаких намеков на отгулы. А во-вторых, вертеп. Пускай отдаст вертеп.

И глаза у Теодора загорелись.

3

Вот ее домишко. Трехэтажный и приземистый, скругленные боярские окошки, обложенные узорным кирпичом. Размазанная наспех штукатурка вздулась пузырями и осыпалась, обнажился темный остов. Окна мшистые, вдоль крыши и на подоконниках висят пещерные сосульки. Дырявый снег под окнами похож на прокисшее тесто.

Павел потренькал звоночком.

– Войдите!

Дверь была не заперта; Саларьев вошел, огляделся.

Он часто заезжал к наследникам, решившим распродать остатки прежней роскоши: обычно это были мрачные квартиры, заросшие антиквариатом. А в этой комнате, просторной, выбеленной, без перегородок, с темными потеками на потолке, не было ни книг, ни антикварных штучек, только в дальнем углу стояли толстые картонные коробки, прикрытые холщовой тканью. В центре – голландская печь с обколотыми изразцами и огромная кровать с резными завитушками на спинках. Возле кровати – деревянный стул, на нем большой транзисторный приемник и старообразный телефон. Беленая печка нетоплена – гриппозное тепло идет от батарей; в перине утонула крохотная, ветхая старушка. Так лежат младенчики, со всех сторон обложенные валиками, чтобы не скатились.

Бабушка хотя и восковая, но улыбчивая.

– Проходите, сделайте милость, – бодро сказала старушка, и непонятно было, как в таком усохшем теле может сохраняться юный голос. – Обувь не снимайте, пол холодный.

– Здравствуйте, – ответил Павел.

Посмотрел на бабушку внимательно, и понял, что она не улыбается. Просто кожа обтянула скулы, приподняла уголки губ. Впрочем, на пергаментном, уже немного не отсюда, личике сияет восторг первоклашки.

– Вас Павел зовут, правда ведь, Павел? Вы не стесняйтесь, осмотритесь. Из окна прекрасный вид. И поближе подойдите, ладно? Если вы не против.

Павел был не против. Лучезарная, но цепкая старушка с некой затаенной гордостью метнула глазами в сторону печки. В глубокой нише, перед медным складнем, утешительно горела синяя лампадка. Конечно, у лампад такое свойство; стоит их зажечь, особенно в сумрачном месте, и сразу возникает ощущение покоя. Бесплотный огонь, спрятавшийся в толстое стекло. А все равно сейчас ему казалось, что лампада въедливой старушки – не такая, как в покоях у епископа Петра. Более домашняя и смиренная.

Говорить не хотелось. Хотелось молчать и смотреть.

Старушка глубоко вздохнула, набрала побольше воздуха. Ну, сейчас начнет вещать о Боге! станет скучно. Но вместо этого она заверещала, как девчонка после школы – вперемешку обо всем, наматывая темы друг на друга, как нить на бесконечное веретено.

– А? вы видите, как светит? Это от владыченьки осталось. А вы историк? Я была когда-то горным инженером, представляете? а потом уже стала келейницей. Так вы историк?

– Я историк.

– А что заканчивали? Вы не заварите нам чаю? если можно! я вас разговорами не заму чаю, не бойтесь, обещаю. Четверть часика поговорим, и отпущу. Там, на полу, у подоконника, и заварочный, и баночка, и сахар? Вот спасибо. И хорошо, что все-таки приехали. Так что же происходит с Арктикой? Вы в курсе, что там за история? Знаете, тут не с кем говорить, глупые старухи, что они понимают?

– Какая история с Арктикой? – Павел опешил.

– Ну как же. Шельф. Все разругались. Я радио все слушаю, там говорят. Водичка вон там, мне из источника приносят, видите, в эмалированном бидоне?

– А зачем вам нужно знать про Арктику? Ну, разругались, поцелуются, помирятся.

Чайник запыхтел и стал посвистывать; Саларьев выдернул шнур из розетки, но свист прекратился не сразу: медленно и недовольно затухал.

– Мне кажется, что это серьезно.

Вид у маленькой старушки стал внезапно важный, строгий, как у ручной собачки.

– Владыченька нам завещал: читайте, слушайте, не брезгуйте. Правды не скажут, а на мысли наведут. Мы не брезговали. Я теперь одна осталась, все уже освободились. Я младшая была. А вы не откроете чемодан, вон, видите, за печкой? А? или сначала чаю? да? сначала чаю?

Павел подал чашку (*мне покрепче, но холодненькой добавьте, ладно?*), сел на корточки, раскрыл клеёный чемодан. Там лежали дряхлые листы газетных вырезок, размеченные синими чернилами, с характерными царапками, какие оставляли перьевые ученические ручки. На вырезке, лежавшей сверху, был портрет бровастого генсека, молодого и цветущего красавца-петикантропа. На полях витиеватым, ироничным почерком выведены комментарии: «Надолго», «NB», «Выведут».

– Владыченька уже готовился к отходу. А все вырезал, помечал.

Павел пролистнул бумажки. Покаянная статья попа-расстриги, с четкой пометой: «Из газеты «Правда», 6, XII, 59, № 340.» и отчеркнутым абзацем: «Я вступил во второй брак. Мне пришлось за это испытать немало упреков от фанатиков. Патриарх предпочел оставить меня

в академии профессором «под вечным запрещением в священнослужении», но с ношением рясы. На лекциях я должен был продолжать носить это ярмо отсталости и регресса».

Самая старая вырезка, пергаментного цвета, осыпающаяся по краям – за сорок восьмой год.

– А за другие годы почему не сохранились?

– Раньше он не мог. Ну, вы снимочки потом посмóтрите и сами все поймете. Чаю выпейте, пожалуйста, и я вас отпущу. Так что там происходит с Арктикой?

Чай был вкусный, густой; Павел смущался горящего взгляда старушки, но чувствовал себя покойно, тихо. Келейница забрасывала его вопросами: а что сейчас читают, а про что романы, а стихи какие, и почему теперь так странно стали говорить? И все-таки про Арктику – узнайте.

– Хорошо, узнаю. А почему вы называете его владыченькой?

– Да как же! Он и был епископ, на покое. Если это называется покоем. А варенья не хотите? мне приносят. Из крыжовника, на подоконнике, возьмите.

4

Четверть часа, тридцать минут, сорок пять. Келейница ввинтилась в биографию учителя, как буром углубляются в породу; во все стороны летели революция, оттепель, детство, Киев, Арзамас, Сибирь, пятидесятые, семидесятые, тридцатые. Не заботясь об удобстве собеседника, она неслась на полной скорости, переходила на язык намеков, обрывала сама себя и перескакивала через темы.

Павел слушал этот стрекот, слушал – и как будто выключился из розетки. Слова его особенно не задевали, барабанили, как дождь по крыше: постриг... обновленцы... голод... карета скорой помощи... Все это вроде было интересно, еще бы разлепить события, выстроить их по порядку, и вовсе станет хорошо; однако у него перед глазами сейчас стоял не дядя Коля с его размашистой биографией, а та женщина, которую Павел не видел, и даже имени ее пока не знает. Она просыпается, тянется, включает свой мобильник, видит эсэмэс и мило морщит лоб – он у нее наверняка покатый, кожа тонкая. Это что ж такое? Номер перепутали? Ответить? Стереть? Павел чувствовал какой-то сладкий страх, последний раз такое чувство было в ранней юности, когда, решившись наконец-то шепнуть на ухо: «Люблю! А ты?», он ждал ответа. То ли счастье, то ли приговор...

– Я вас совершенно заболтала! Простите, Павел, простите, вам будет тяжело тащить коробку, а ведь еще вертеп – вы мне обещаете, что он не потеряется? Пообещайте! Коробка в левом углу, а театрик в правом, вы по одному несите, хорошо?

Вертеп, обернутый пыльным холстом и туго перемотанный бечевкой, был громоздким и легким, он поместился на заднем сидении. А короб с фотографиями оказался совершенно неподъемным. Целый склад. Его пришлось волочить по ступеням; багажник так и не закрылся, Павел подвязал крышку георгиевской ленточкой, случайно завалившейся в салоне. И, тяжело дыша, поднялся в третий раз. До чего широкие ступени!

Старушка выдохлась; лежала бледненькая, жалкая, хрипела. И как в начале встречи Павла изумила сила голоса в крохотном, усохшем теле, так сейчас он поражался грозной мощи хрипов, как будто он их слушал в стетоскоп.

В паузах между легочным клекотом Анна Леонидовна прошелестела:

– Вот и все... поговорили... Еще две вещи, Павел, пока не забыла. Первая вещь: владыченька писал записки, тетрадь вон там, на подоконнике, завернутая в целлофан. Взяли? Вот и хорошо. Сохраните их... и фотографии. А под кроватью... ящичек. – Она пошевелила пальчиками, показывая под кровать.

– Послушайте, вам нехорошо. Я вызову скорую.

– Не... надо. Все... пройдет. Бутылки.

Пришлось заглянуть под свисающий край одеяла. Он думал, что увидит паутину, обязательное старческое судно, а увидел темный отблеск вымытого пола и аккуратный ящик с круглой ручкой, вроде тех, что носят столяры.

В ящике лежали две бутылки. Очень старые, безнадежно вылинявшие этикетки. Округлая ликерная, с призывной надписью: «Ciokolata cu visine», и простецкий штоф – «Запiканка українська».

Старушка говорила все тише; так падает давление звука в настенных часах, перед тем как они остановятся.

– Владыченка... привез из Киева... три бутылки... положите в ящик, чтобы не разбились. Первую велел открыть, когда большевики уйдут.

– Я все-таки вызову скорую?

– Прошу... не надо. Мы ее выпили... Сладкая была... Владыка знал, что тетке будут пить.

– А эти две?

– Украинскую, сказал, «откроют на поминках». А иностранную – «оставьте на крестины». И... улыбнулся. А на какие поминки, какие крестины? кому будет надо, поймут... Возьмите... пусть теперь у вас... а я посплю... ко мне придут... ангела-хранителя...

Старушка перестала легочно хрипеть и вдруг засвиристела носом. Глаза приоткрыты, щеки впали, губы стали бледно-фиолетовыми и быстро высыхали, покрываясь коркой.

Саларьев посмотрел еще немного на лампаду, взял ящичек и, успокоенный, пошел к машине.

5

Но покой оказался недолгим. Как только Саларьев выехал из города, и перед ним легла дорога, прямая, как стрелка на брюках, – накатила беспричинная тоска. Вокруг холодный свет, холодный воздух. Кончики пальцев стало покалывать; на тыльной стороне ладони, у кисти, где опасно сплетаются вены, проявилась легкая, почти приятная ломота. Первый признак надвигающегося гриппа. Так он всегда заболел: и в детстве, и в университете, и тогда, в Стокгольме. Павел внимательно смотрел на белую дорогу с темно-желтыми песочными присыпками, и вроде ясно видел путь. Взметнулась порошковая поземка, сухо легла на стекло, и слетела. Но ровная картинка все не могла настроиться на резкость.

Перед глазами что-то вспыхнуло и ослепила головная боль, тонкая, невыносимая, как проволока, прoderнутая через кожу. Саларьев тормознул; воды не оказалось, и горькую таблетку пришлось жевать, с трудом удерживая тошноту. Как только боль ослабла, он снова тронулся, чувствуя, что все двоятся. Он вроде бы и едет, и не едет; вдруг стало холодно, до кланья зубами. Носоглотка чешется, глаза слезятся, в ушах стоит температурный гул.

Выезжая через мост на Невский, со стороны Васильевского острова, он краем глаза зацепил картинку: на Дворцовой площади толпа переодетых свиньями людей скандировала: «Хрюши – За – Хозяина!» Кричали так громко и так вдохновенно, что было слышно даже сквозь закрытое стекло; «не может этого быть», подумал Павел, «но и бреда тоже быть не может, я пока еще в сознании, что происходит?»

6

Жар то спадал, то распластывал на мокрой простыне. Почему-то вспоминалось неприятное и стыдное.

Тата наконец-то забеременела. (На четвертый год или на пятый? Надо же, уже не помнит.) Беременность ей шла: никаких пигментных пятен. Щеки округлились, под широким пла-

тьем прятался животик. Пупок, до этого напоминавший впадину, вывернулся и торчал аккуратной фигурей. А глаза покрылись влажной пленкой и сияли странным светом, обращенным внутрь. Говорят, беременные женщины капризны, то им подай заморских фруктов, то еще чего-нибудь. Тата обходилась красной морковкой. Взрывчато грызла, хрустела, и была вполне довольна. Характер у нее переменялся – конечно, временно; вспыльчивость ушла и наступила вяловатая покорность. Такое с ней случалось – редко, иногда, и всякий раз это приводило к дурным последствиям.

По средам и пятницам, свободным от усадьбы (тогда он бывал в Приютине три дня в неделю), Павел вел жену на выгул. Они не прятались от въедливого ветра; сворачивали на сквозную набережную, оттуда шли на продуваемую Стрелку, смотрели, как чернеет ледяной наrost, а через неделю вздыбливается, а через две уходит, отчаянно цепляясь льдинами за льдины. Весенний ветер заворачивался по спирали, высасывал тепло, но Тате почему-то нравилось, она с удовольствием медленно мерзла.

Перевалив за середину срока, Тата опять изменилась. Стала двигаться солидно, как полновесная дама. Посреди разговора смолкала и смотрела долго, не мигая.

Все случилось девятнадцатого мая. Отгуляв положенное, Павел прилег на диван с «Будденброками». На сцене похорон, где ужасающе, до тошноты описан мертвенно-величественный запах траурных венков, стал погружаться в сон. Вдруг позвонили в дверь; Павла будто подстрелили на лету. Он заплотшно бросился ко входу. На пороге стоял их нижний сосед, крепкий отставник Иван Петрович. В майке, тренировочных штанах и тапках, розовых, с помпонами.

Бурклый голос нижнего соседа их всегда преследовал: стоило открыть окно – в квартиру сизой струйкой втягивался папиросный дым, а вслед за ним вползал приплюснутый голос майора. «Таак, значит, таак. А мы тебя сейчас положим, положим тебя сейчас, вот таак, ложись, да, ложись, вот таак, молодец... Я строгаю, Бэллочка, строгаю, говорю, строгаю. Мануэль, молчи, я сказал, молчать, Мануэль, не гавь».

Иван Петрович состоял из грохота, визгливых тяфков болонки, сварливых окриков жены. При этом стоило Саларьевым включить проигрыватель, или резко сдвинуть кресло, как Петрович набирал их номер, и, бесконечно повторяясь, выговаривал: «Ну мы же под вами живем, живем под вами, так сказать, ну ведь можно же потише, ведь мы под вами, не умеете сами, интеллигенция, понятно, так давайте я вам на ваши креслицы и стульчики, на стульчики и креслицы, набоечки из войлока нарежу и наклею, из войлока, и шума не будет, как же можно так шуметь».

Заслышав занудливый голос, Тата вышла в коридор; заспанная, безмятежная...

– Это что же такое, так сказать, что же это такое? вы как себя ведете? Вы решили дом, что ль, затопить? Да? Затапливаете, тскть, дом? Что же вы, дамочка, не следите за порядком? А, дамочка? Вы что же за порядком не следите?

Иван Петрович, кургузый, похожий на киношного лесовика, суетливо отодвинул Тату и собирался пронырнуть в квартиру. Павла затрясло от гнева; он рывкнул на отставника:

– Руки! Руки, сказал, убери!

Иван Петрович вдруг засуетился, на лице отобразились ненависть, растерянность, подобие испуга. Он отступил, и стал приплясывать на месте, как пес, которому случайно отдавили лапу:

– Вы ж затопили, посмотрите, это как же понимать? как же понимать, хозяйюшка, не стыдно как же? совесть надо же иметь?

– Вон пошел! Ты слышал меня? пошел! Иди, сказал, считай убытки! Принесешь расчеты, оплачу. Ты, суч, не видишь, что жена беременна? Ты на кого тут вякал? Замолчал, понятно?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.